

РР84Р1

С32

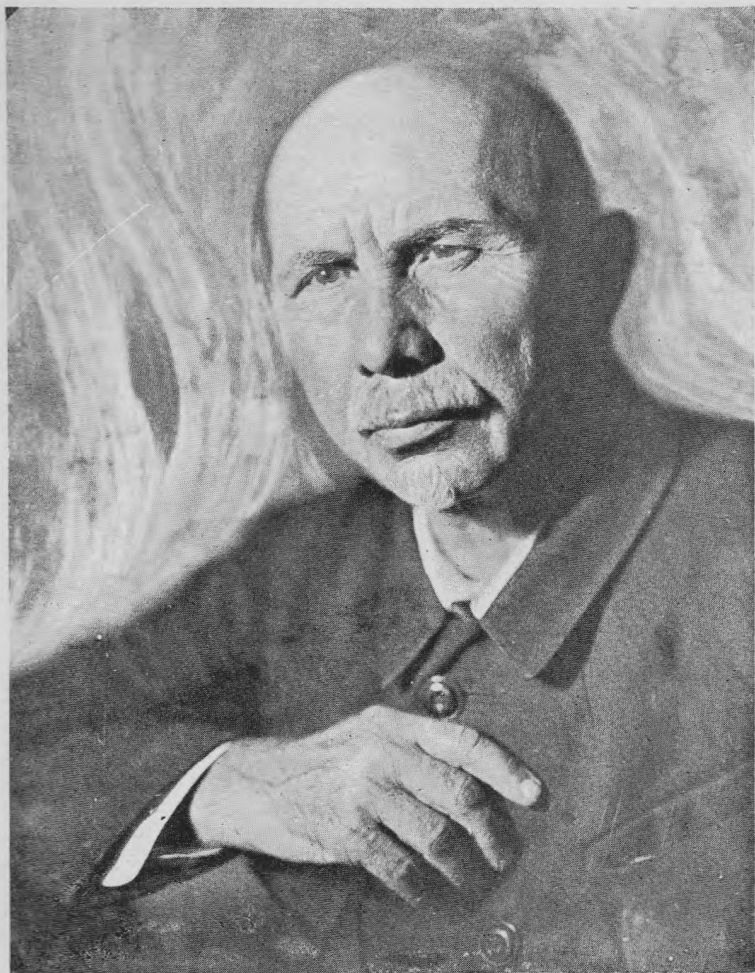
СЕРАФИМОВИЧ

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ
СОЧИНЕНИЙ

Т О М

I

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО



А. СЕРАФИМОВИЧ



А. СЕРАФИМОВИЧ

ПОЛНОЕ
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ I

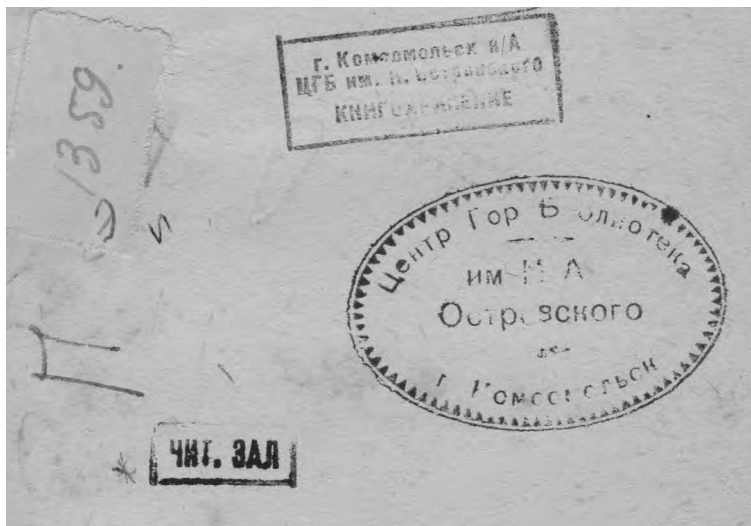
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

А. СЕРАФИМОВИЧ

C32

у
В

СНЕЖНАЯ ПУСТЫНЯ



МОСКВА * 1930 * ЛЕНИНГРАД

ОТПЕЧАТАНО

в 1-й Образцовой тип. Гиза.
Москва, Валовая, 28. Главл.
А-46639. Х: 20. Гиз 31179. Зак.
№ 847. Тираж 10 000 экз.

15 1/2 п. л.

НА ЛЬДИНЕ

I

Мохнатые сизые тучи, словно разбитая стая испуганных птиц, низко несутся над морем. Пронзительный, резкий ветер с океана то сбивает их в темную сплошную массу, то, словно играя, разрывает и мечет, громоздя в причудливые очертания.

Побелело море, зашумело непогодой. Тяжко встают свинцовые воды и, клубясь клокочущей пеной, с глухим рокотом катятся в мглистую даль. Ветер злобно роется по их косматой поверхности, далеко разнося соленые брызги. А вдоль излучистого берега колоссальным хребтом массивно поднимаются белые зубчатые груды нагроможденного на отмелях льду. Точно титаны в тяжелой схватке накидали эти гигантские обломки.

Обрываясь крутыми уступами с прибрежных высот, к самому морю хмуро надвинулся дремучий лес. Ветер гудит между красными стволами вековых сосен, крепнит стройные ели, качая их острыми верхушками и осыпая пушистый снег с печально поникших зеленых

ветвей. Сдержанная угроза угрюмо слышится в этом ровном глухом шуме, и мертвой тоской веет от дикого безлюдья. Бесследно проходят седые века над молчаливой страной, а дремучий лес стоит и спокойно, сумрачно, точно в глубокой думе, качает темными вершинами. Еще ни один его могучий ствол не упал под дерзким топором алчного лесопромышленника: топи да непроходимые болота залегли в его темной чаще. А там, где столетние сосны перешли в мелкий кустарник, мертвым просторам потянулась безжизненная тундра и потерялась бесконечной границей в холодной мгле низко нависшего тумана.

На сотни верст ни дымка, ни юрты, ни человеческого следа. Только ветер крутит столбом порошу, да мертвая мгла низко-низко ползет над снеговой пустыней.

Раз в году заходит и сюда беспокойный человек, нарушая угрюмое безлюдье дикого побережья. Каждый раз как ударит лютый мороз и проложит крепкие дороги через топи и тундры, а на море в мгlistой дали обрисуются беспорядочные очертания полярных льдов, грозно надвигающихся с океана,— с далеких берегов Мезени и из прибрежных селений, через тундры и перелески старого леса, скрипя железными полозьями по насквозь промерзшему снегу, тянутся оригинальные обозы: низкие ветвисторogie северные олени, запряженные в длинные черные лодки -на полозьях, гуськам идут друг за другом, осторожно ступая по крепкому насту, а рядом тяжелой, увалистой походкой широко шагают косматые белые фигуры.

И с угрюмой досадой видит старый лес, как раскidyваются станом на несколько верст по его опушке незванные гости.

II

Стоит Сорока на торосе, в руках длинный багор держит и пристально смотрит в холодную даль. А там, почти на самой черте горизонта, сквозь мгlistую изморозь смутно выделяются и растут неправильными очертаниями белые груды. Сорока застыл в напряженном ожидании. Все приметы к тому, что быть промыслу: птица кричит, с моря низко по ветру летит, и ветер глубник встал. Мгла ползет над самой землей, за верхушки сосен цепляет, бор зашумел. Да, должен промысел попасть. И зорко всматривается он в холодную даль, старается разглядеть, нет ли добычи: над самым морем ходят туманы — не различает глаз.

День погасал. Ветер гудел в сосновом бору, и в вихре крутил порошистый снег. Отовсюду ползли безжизненные серые зимние сумерки, заволакивая пустынный берег. Там и сям из-за массивных ледяных глыб виднелись косматые белые фигуры с длинными баграми в руках, напряженно всматривавшиеся в мгlistую даль. Море глухо шумело. Вдали безобразною белою грудой смутно надвигалась громада льдов.

Глянул Сорока по берегу, смотрит — за соседним обломком льда Ворона стоит с багром, туда же глядит. Посмотрел на него Сорока, и темно стало у него на душе. Здоровый мужик Ворона, совик на нем олений добрый, бафилы новые; стоит себе, на багор слегка

оперся, глядит на море, видно, не тужит: попадет промысел. Ворона новую шхуну пустит, еще пуще торговать начнет; не попадет — горевать не будет.

Да и сам Ворона надрывать себя на промыслах очень не станет: для него набьют зверя покрутчики. И Сорока пошел от него покрутчиком, и за то, что Ворона снабдил его теплой одеждой, должен отдать ему половину добычи.

Ветер зашумел, разорвал туман и колеблющейся пеленой отнес безжизненную мглу к самому горизонту. Глянул Сорока, встрепенулся. Позабыл и Ворону, и олений совик его новый, и свою досаду на него, и то, что он должен отдать ему половину добычи, — позабыл все Сорока и впился зоркими глазами в посветлевшую даль.

А там, на сколько хватало глаз, тянулась, надвигаясь к берегу, изрытая, изборозженная ледяная равнина, уходя в холодную серую дымку далекого гори-

зонта. Громадные синеватые глыбы, стоямя торчавшие над белесоватою массою мелкого льда, медленно поднимались и с треском рушились, выжатые снизу напором прибывающей воды. Тяжело надвигались ледяные поля, и смешанный гул висел над ними, не похожий на морской прибой. Точно, бог весть откуда смутно докатывались глухие раскаты урагана.

Видит Сорока, едва глаз улавливает — черными точками реют птицы. Загорелись у него глаза. «Есть!» Собрал он в кольца ременную веревку, попробовал багор, взял палку кривую, приготовился, ждет, пока льды подойдут к самому берегу,

Огляделся, видит, — день совсем кончается. Недолго бывает он на этом далеком берегу. Чуть-чуть. выглядит солнышко из-за туманного горизонта холодными лучами на каких-нибудь полтора часа — и снова опешит опуститься почти в той же точке, откуда и возшло.

Сквозь разорванную мглу скользнул последний безжизненный луч, заиграл мириадами радужных искорок в снежинках, отразился во льду тороса и на мгновение бледно осветил и глухо рокочущее льдистое море, и этот бесприютный одетый печальным саваном берег, и сотни разбросанных вдоль его человеческих фигур.

На заискрившихся снежных сугробах прибрежных холмов там и сям темными пятнами выступали закоптелые, насквозь пропитанные дымом убогие промысловые избушки.

Снова зашумел ветер, набежал мглой и разом задернул погасавшее светило. Безжизненный, унылый колорит лег на всю окрестность.

III

Первые воды прилива добежали до берега и омыли подножье тороса. Смолкли шумевшие до того волны, придавленные тяжелой грудой. И как придвинулись ледяные поля к самому берегу — гул пошел окрест и рокотом отдался в глубине бора. Послышалось могучее шипение, шорох, треск ломающихся глыб, словно надвигалось стоногое чудовище. Передовые льдины, столкнувшись с торосом и сжатые тяжело напиравшей массой, рассыпая белую пыль, ползли на вершину,

громоздились в причудливые горы. Звуки смешивались в хаотический гул. Тонкая ледяная пыль висла в воздухе и уносилась ветром. Движение ледяной массы, встретив преграду, превратилось в колоссальную энергию разрушения: в несколько минут вдоль всего берега ломаными очертаниями тяжело поднялись новые громады.

Только подошел лед к берегу, как несколько сот промышленников кинулось вперед.

Сорока опустился на лед один из первых. Прыгая со льдины на льдину, скользя, проваливаясь по пояс в наметанный ветром снег и лед, он бежал вперед. Ледяные обломки с грохотом валялись по его следам. Всем его существом овладела одна мысль, неотступная, напряженная, как дрожащая струна, отдававшаяся в груди с каждым ударом быстро стучавшего сердца: «Кабы напасть, поспеть... Царь небесный... Владычица!..» Осколки льда брызгами летели из-под бафил. Ветер свистел в ушах и бил в лицо ледяными иглами, одевая бороду и усы пушистым инеем. А он ничего ее замечал и бежал все вперед.

Спускалась ночь. Берег неясными очертаниями терялся в мгlistой дали. Он остановился на мгновение и, затаив дыхание, чутко насторожил слух. Кругом было пусто, и шумел ветер. Необозримая ледяная равнина уходила в сгущавшиеся сумерки. Он пробежал версты две и стал уставать. «Господи, не нападу... пропущу! — с отчаянием думал он, — а надо ворочаться, воды уйдут!»

При одной мысли, что он вернется с голыми руками, по нем пробегала дрожь. Курная избушка, семья, дети

ждут... Он припал ко льду и чутко приник ухом: откуда-то справа донеслись звуки, чрезвычайно похожие на плач дитяти. Мгновенно слетела усталость, он кинулся в ту сторону и опрокинулся навзничь: перед ним зияла темная щель. Пришлось обегать. Обливаясь потом, он, наконец, различил в начинавшей быстро сгущаться темноте неясные очертания каких-то темных масс.

В один прыжок Сорока был там. Здесь расположилась целая семья тюленей: громадные неуклюжие звери безобразными темными глыбами неподвижно лежали на льду. Заслышав человека, они всполошились и, опираясь на передние лапы, высоко подняв уродливые головы, неуклюже поволокли свое тяжелое тело. Очевидно, в присутствии врага они худо чувствовали себя на льду, далеко от своей родной стихии.

Нагнав ближайшего, Сорока изо всех сил махнул ему палкою между глаз. Зверь припал головою ко льду, в воздухе свистнул багор, железное острие до самого крючка вбежало в переносицу. Капли горячей крови брызнули в лицо, и громадный зверь, которого в другое место и ружейная пуля не берет, неподвижно вытянулся на льду. Меткими ударами Сорока положил еще несколько зверей.

Привычной, слегка дрожавшей от волнения и усталости рукой быстро снимал он с убитых зверей шкуры и толстый слой сала. Снимает Сорока шкуры, спешит, а сам прикидывает, сколько выручит. Весело и легко стало Сороке, и сам себе ухмыляется в бороду. Если каждый раз будет так удачно, сразу хозяйство станет на ноги.

А время не ждет, бежит — того и гляди, начнется отлив. Заспешил он, схватил кожи и сало, скатал все в большой юрок, прикрутил ременной лямкой, накинул на плечо и поволок по льду. Трудно было тащить по неровной, изрытой поверхности шести-семипудовый юрок.

Ночь, темная, глухая, опустилась на шумевшее льдом море. Холодная непроницаемая мгла ползла со всех сторон и все гуще и гуще заволакивала пустынную равнину, над которой лишь бежал холодный ветер да шумел в ледяных глыбах.

Сорока шел наугад, руководясь ветром да какими-то неуловимыми для непривычного человека и лишь знакомыми поморам приметам. Он напряженно всматривался в окружающий мрак, постукивая иногда перед собою багром. Пот градом катился с него, но он не чувствовал усталости: не с пустыми руками возвращается, только бы добраться.

Хорошо знал Сорока, — воротится он домой, вся добыча уйдет за долги да за то, что снаряжал его на промысел, вся добыча уйдет кулаку - Вороне, а все-таки радостно тащил он тяжелый юрок, и пот градом катился.

«Чтой-то берегу все нету?» — мелькнуло у него.

Он огляделся кругом: глухая ночь мрачно глядела на него мертвыми очами. Острое предчувствие кольнуло его.

«Ох, не запоздать бы, давно уже с берегу, — время!»

Он перекинул лямку на другое плечо и еще быстрее потащил юрок. Назойливая мысль, что опоздал, что

пойдет отлив и его унесет в море, так и сверлит мозг. Налегает Сорока на туго натянувшуюся ляжку, надрывается, чувствует — упустил время. Колени подгибаются, спотыкаться стал. Впереди сквозь непроницаемую завесу мрака мигнули два-три разрозненных огонька: стало быть, берег близко.

Бежит Сорока из последних сил. Трудно дышать, в висках стучит, в горле пересохло, больно воздух холодный глотать.

Хочется остановиться хоть на минутку, но он делает усилие над собой и, перехватывая на ходу раз-другой холодного снега, еще сильнее наваливается...

Что-то зашуршало и зашелестело. Впереди смутно обрисовалась громада торосов, лед дрогнул и закрипел.

«Бросить юрок — успею добежать!» — мелькнуло у него на мгновение.

Но он не бросил, а сделал страшное усилие и, волоча кожей, побежал...

IV

Занесенная совсем с крышей глубоким снегом печально чернеет промысловая избушка. Из отверстия, проделанного в крыше, вырываются легкие клубы дыма и, подхватываемые ветром, быстро исчезают.

Внутри избушки темно, и только огонек, разложенный в углу, на груде камней, освещает неверным, колеблющимся красноватым отблеском черные бревенчатые стены без окон, закоптелую плоскую крышу, спускающуюся с нее махровой бахромой нагорелую сажу

и длинные грязные нары вдоль стен. В воздухе легкими слоями висит едкий дым. На нарах расположились дюжие фигуры промышленников. Их набилось человек двадцать. Это один из отрядов той промысловой армии в несколько сот человек, которую ежегодно высылают к безлюдному берегу Белого моря неумолимая нужда и тяжелые жизненные условия Севера.

Медленно и скучно тянется время. Злую шутку сыграло родное море: в несколько часов побелело оно льдами, немало добычи принесло к берегам, — да вдруг набежала непогода, расколола и сломала ледяной покров и безобразными грудями раскидала его на сотни верст. И приходится коротать долгие полярные ночи и серые зимние дни, а единственное средство развлечения — табак и песня — безусловно изгнано.

— Море чистоту любит, молитву, — говорят промышленники, — а то ежели с табаком да с песней да с сквернословием, так и не вынешь ничего: вдруг ветер падет с берегу и всю кожу отобьет, да и тебя вглубь вынесет.

В углу, вокруг красноватого костра, клубившего смолистый пахучий дым, сидят и лежат промышленники. Они коротают тоскливое время, слушая сказки и разные бывальщины.

Снаружи захрустел снег под чьими-то тяжелыми шагами... Дверь распахнулась, ворвавшийся холодный ветер колыхнул красноватое пламя костра и за клубился дымом. Вошел мужик в совике. Покрытое инеем лицо, точно поросшее белым мохом, угрюмо выглядело из мехового капюшона,

— Сороки нетути, — проговорил он низким голосом, — унесло!

Все разом смолкли. И у каждого мелькнуло в голове: холодный простор, льды да звездное небо, а во льду человек бьется и стынет.

— Што же сидите? — сурово проговорил старик. — Ступайте к карбасу!

Человек восемь поспешно стали одевать «рубахи».

Старик вышел и поглядел на море. Оно зеркальным простором уходило в морозную даль, и с вышины звездное небо гляделось в него. В синеватой дымке недвижно дремал старый лес, и вдоль берега, словно исполины на страже, молча подымались ледяные утесы. В застывшем ночном воздухе висела мертвая тишина.

Через минуту небольшой карбас отчалил от берега и, далеко оставляя за собой колеблющийся фосфорический след, потонул в морозном сиянии.

V

Ветер упал. Затихавшие волны несли изломанные, рассеянные остатки ледяных полей, словно разбитые обломки гигантского корабля. Тучи поспешно сбегали с синего свода, униженного ярко мерцавшими звездами, и долгая северная ночь, прозрачная и холодная, как синие льды, раскинулась над глухо рокотавшим морем, которое, словно сердясь, еще не улеглось от недавней бури.

Постепенно море очищалось от льда, и только одинокие глыбы там и сям тихо покачивались волной. На одной из таких льдин, смутно рисуясь на синем фоне

далекого горизонта, неясно выделялся огромный силуэт высокой фигуры. Это был Сорока.

Он искусно работал багром, и гибкий шест бурлил и пенил холодную воду. Неуклюжая глыба тихо подвигалась вперед. Бесконечным простором расстилалась кругом водяная гладь. Сорока поднял голову: вверху сквозь тонкий пар мороза блестела золотая Медведица, — по ней надо держать путь. Сорока наваливается на багор, толкает вперед тяжелую льдину, а в голове несвязно теснятся темные думы: далеко море вынесло, мороз лютый ударил, другие сутки ничего во рту не было. Налегает Сорока на багор, старается, слышит — слабеть стал. Приостановился на минутку, снегу перехватил, огляделся кругом: водная пустыня в голубоватом сумраке тянулась без конца и пропадала.

Сбежали последние легкие тени тучек, морозное небо фосфорически заискрилось мириадами. Море улеглось необъятно, и в нем дробились звезды.

Чует Сорока — не кончить добром: охватило холодное море, а в очи неподвижно глядит побелевший мороз, неслышно подбирается, острыми иглами проникает в стынувшее тело.

Работает Сорока, старается согреться работой, а в голове смутной вереницей смутные думы. «Господи, вынеси... ребята малые, бессмысленные... не подымут силу... кому надоть... Хозяйки нетути...» Лезут в голову думы, что дома ничего нет, что напромышлял он промыслу, поправился хоть сколько-нибудь и Вороне

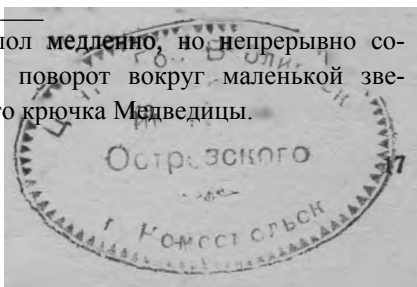
65831
18607-9899
7967
712

отдал бы долги. Все бы сделал Сорока, да вот вернется ли? Вспомнил избушку, темную, дымную. Придет, бывало, с промыслов Сорока и распарит и согреет грешное тело. Вспомнил, как еще мальчиком ходил с отцом на промысел. Кругом шумел морской прибой, и ходили ледяные горы... Тропки на болотах вспомнил, птицу пернатую, зверя лесного, что ловил. Бедность свою вспомнил, и, как подумал обо всем Сорока, горько стало ему. Налег на багор и мысленно окинул пространство, что надо пройти: «Ох, не добратся!» И опять стало жалко себя. Неужели же так-таки ему и пропадать?

Не верится Сороке. Много годов хаживал он на море. По неделям, по месяцам приходилось жить. Кругом море, льды да небо. Бывало, далеко уносило, без хлеба, без огня, без помощи, на волос от смерти бывал, а выносило же. Вот те все вернутся домой: хата теплая... ребятишки... с промысла продадут... хозяйства

поправят... а его будет носить по морю безжизненным куском льда. И у него дома ребята, и хозяйство, и промысел есть, а вот не вернется! Защемила тоска, жалко помирать, а знает, — замерзнет, обессилел. Тяжелая слезинка выжалась из глаз, сползла по суровому лицу и повисла замерзшей капелькой на обледенелых усах. Поднял голову и недоумевающе посмотрел затуманившимися глазами на далекое небо, отливавшее холодным блеском, точно ждал ответа. Но стояло ночное безмолвие над застывшим миром.

А сверкающий купол медленно, но непрерывно совершал свой урочный поворот вокруг маленькой звездочки в хвосте золотого крючка Медведицы.



На сверкавшем небе пронеслось дымчатое облачко, и звезды искрились сквозь его тонкое тело, а из-за края зловеще разгорался сполох, зажигая небо волшебными бегущими огнями.

Из последних сил бьется Сорока, слабее и слабее гнется длинный шест; занемели руки, не слышно ног, клонит отяжелевшую голову. Хочется ему хоть на минутку присесть, да хорошо знает, зорко следит белый мороз: только останешься без движения, он обоймет, повеет и проникнет насквозь холодным дыханием. Борется Сорока с дремой и не думает уже: мысли спутались, оборвались и неясно проносились, точно по ветру клочья безжизненного тумана. Понял Сорока — не жить ему, и опять вспыхнули в его холодеющем мозгу далекие родные картины, вспыхнули и погасли. Понял Сорока, теперь уже никто ему не поможет, не поспеет, не услышит.

— Братцы, пропадаю... отцы родные!..

И этот безумный вопль дико нарушил ночное безмолвие, пронесся над водной гладью и, как бы подымаясь все выше и выше, замер в тонком морозном тумане. Только дальние льды послушным эхом отразили ненужный вопль о помощи, да маленькая звездочка сорвалась и скатилась, и снова все стихло. А сполох все разгорался. На одной половине небо ярко горело звездами, а на другой половине потухли все звезды, и зловещая мгла мрачно глядела оттуда. Словно из гигантского жерла, вылетал оттуда белый клуб дыма и, расстилаясь, быстро проносился по небу, сквозя яркими звездами и потухая в зените. Каждый

раз как вспыхивала эта дымчатая пелена казалось — вот-вот раздастся оглушительный удар, и дрогнет заснувшее море. Но в недвижимом воздухе стояла все та же немая тишина. Только из жерла бесконечно вспыхивали колеблющиеся огнистые полосы и быстро проносились, играя всеми цветами.

Сонливое состояние стало овладевать Сорокой. Надоело, лениво-тяжело было стоять на ногах, и он присел на корточки. Приятная теплота разливалась по телу. «Вишь, мороз-от менее стал», — мелькнуло у него. Тихая дрёма туманила голову. Что-то смутное, неясное, давно забытое всплывает несвязными обрывками в круговороте воспоминаний, то снова тухнет и тонет в бесконечных картинах прожитой жизни.

Стала представляться глухая ночь в глухой тундре. Во мраке носился ураган, и его бешеный гул, словно похоронный звон, уныло звучал над одинокой юртой, погребенной под снежным заносом. К самой юрте боязливо жались олени. А в юрте сидит он, Сорока, самоед и его семья. Сидит Сорока на куче оленьих шкур, боченок в руках держит и ведет торг: покупает у самоедов оленей. Не продают — без оленя в тундре издохнешь. Поднес Сорока самоеду стаканчик — повеселел тот; поднес другой — стал самоед сговорчивее, поднес третий — запел самоед. Пел он обо всем, что было перед глазами. Стал пить водку и запел: «Ах, водка, хорошая водка!» В костер дров подкинули, он запел: «Ах, огонь, горячий огонь!» Залаяла собачонка, он пел: «Ах, собака, белая собака!» И щемящей тоской теперь повеяло на Сороку от этой давно слышанной песни.

Напоил Сорока самоеда до-пьяна, напоил и самоедку и купил у них ни за грош всех оленей. Утром улеглась буря. Он согнал оленей, только оставил самоеду трех, чтоб не пропал совсем. Уехал Сорока, а самоед остался; в тундре. И теперь Сорока никак не может отвязаться от этого самоеда: смотрит он на него сквозь узенькие щелочки посоловелыми от водки глазами и нето поет, нето плачет: «олешки, олешки... ах, олешки...» Хочет забыть об этом Сорока, мутится у него в голове, мысли мешаются, хочет отвязаться от этих мыслей и отдаться туманящей голову дремоте.

Он вздрогнул. Раздался гулкий протяжный удар, точно тяжелый артиллерийский залп. Где-то далеко расселась ледяная громада, сжатая морозом. Отраженное дальними льдами упругое эхо с рокотом далеко покатилося по водной глади.

На мгновенье он как бы очнулся. К удивлению, никак не мог разодрать глаз: они слиплись. И, как далекая зарница в глухую полночь, мелькнуло смутное сознание опасности. В воздухе опять повисла мертвая тишина, и прежнее оцепенелое состояние овладело им. Ему надоело усиливаться поднять свои отяжелевшие веки. Опять драма отуманила голову, и неясные думы, точно легкие тени в лунную ночь, бежали смутной вереницей. Чудилось ему, что ожило мертвое море и тихо дышало бесконечным просторам, и тонкий пар его дыхания подымался к далеким звездам, а в его недрах совершалось неведомое. Казалось, весь мир замолк, и та прежняя жизнь потухла, затаилась в этой загадочной пустоте, наполненной биением какой-то другой, незри-

мой жизни. Чудилось, неслышно веет тихий ветер, и звучит смутный, едва уловимый звон, и легкий туман колеблется над морем.

И сквозь морозный туман чудится Сороке, разбегаясь фосфорическим блеском, змеятся две светлые волны. И плывет на него, не касаясь воды, полупрозрачная, смутно - неясная лодка. Ледяная глыба дрогнула, зашаталась, взволновала спокойную поверхность; расходясь, побежали серебряные круги. Отраженные в колышущейся глади звезды задрожали, запрыгали и расплылись колеблющимся золотом. Только что показавшийся месяц уродливо вытянулся, заколебался и лег длинной полосой до самого горизонта. А над морем тихо спустился сумрак и покрыл все...

Сияя величавой красотой Севера, тихо дремлет над спокойным морем полярная ночь, затканная тонким искристым, морозным туманом. А над нею, сверкая причудливыми переливами фосфорической игры, разметалась звездная ткань. В темной пучине колебались повисшие яркие звезды. С вышины задумчиво льется голубоватое сияние. Мертвая тишина неподвижно повисла над застывшим морем, и чудится в этой сверкающей переливчатой красоте безжизненный холод вечной смерти. Мягкий синеватый отсвет озаряет необъятную водную гладь, подернувшуюся тонким льдистым слоем, и в морозной дали неподвижно скорчившуюся на одинокой льдине фигуру, опушенную белым инеем.

СНЕЖНАЯ ПУСТЫНЯ

— Ваша благородия — олешки.

Я обернулся. В дверях стояло странное, малорослое существо, с головы до ног покрытое оленьим мехом, обвисшим мохнатою шерстью, напоминая небольшого медведя на задних лапах. Слегка оливкового оттенка приплюснутое лицо хотя и было прорезано морщинами, не носило следа бороды и усов, так что нельзя было сказать, был ли это мужчина или женщина; черненькие глазки, точно усмехаясь, выглядывали из узких косых щелей.

— Олешки, — проговорил самоед и склонил голову набок.

— А, хорошо!

Я встал и начал собираться в дорогу, в дорогу по тундре. А это значило, что я должен был превратиться в самоеда. Я так и сделал. Во-первых, натянул на себя меховые олени штаны, на ноги натянул пимы, сверху одел совик и просунул голову в его капюшон, в котором оставалось лишь небольшое отверстие для глаз. Конечно, следовало предварительно вымазать себя во-

нючей ворванью, чтобы окончательно застраховаться от мороза, но я не решился подвергнуть себя этой операции.

— Ну, я готов, — обратился я к самоеду. — Идем.

— Па-астой... не-эльзя, — спокойно остановил он меня. — Так не-эльзя, — и еще больше сузил свои маленькие щели.

— Чего же еще? Чего ждать-то? — удивился я. — Не-эльзя, па-астой, — меланхолически протянул он.

— Дорога большая... — и неопределенно уставился в угол.

— А-а!.. — догадался я, наконец, — чего же с самого начала прямо не сказал?

Я достал из шкафа бутылку с водкой, рюмку и подал ему.

— Ниче-эго, будет и этого, — и он флегматично протянул назад рюмку, а бутылку приставил горлышком к безусым губам и стал медленно глотать, запрокидывая назад голову и бульбукая в бутылке пузырьками воздуха.

— Ну, те-пе-ри-ча с богом! Олешкам легче будет, назад не будем оглядываться, — протянул он нараспев, возвращая пустую бутылку.

Я изумился.

— Как же... как же это ты так?

— Ниче-эго, — и он спокойно направился к выходу.

«Вывалит, каналья, где-нибудь», — мелькнуло у меня в голове.

Я вышел. Был страшный мороз. Тянул резкий северо-восточный ветер, крутя снежинками и осыпая нас

порой мелкой снеговой пылью. Ни на одно мгновение нельзя было обнажить лица или руки: жгучий мороз прикасался, как раскаленным железом; казалось, он проникал своим ядовитым прикосновением даже дерево и металл.

Улицы были пусты, точно все вымерли. Высоко вверху быстро бежали по ветру волокнистые белые клочья, напоминавшие легкие хлопья ваты. Был как раз полдень, а багровый диск солнца плавал над самой чертой горизонта в сизом тумане, озаряя кровавым багрянцем нежные края перистых облаков. В воздухе носились ледяные кристаллы, отливая в холодных лучах далекого светила. Ветер бесшумно проносился леденящим дыханием над оцепенелым городом, точно с злорадным сознанием своей страшной силы.

Олени неподвижно стояли у маленьких саней, понуро наклонив длинные вытянутые шеи и как будто с усилием поддерживая огромные заиндевевшие рога, чрезвычайно напоминавшие своим ветвистым строением причудливое коралловое дерево. Они кротко смотрели на нас добрыми блестящими черными глазами. Маленькие самоедские санки, необыкновенно легкие и в то же время необыкновенно прочные, представляли вид странного насекомого, длинного и узкого, поднявшегося на высоких ножках. Самоед поправил незатейливую ремennую упряжь, бросил на санки несколько оленевых шкур и свистнул собакам. Маленькие и проворные, как обезьянки, белые собачата повскакали с своих мест и насторожили уши. Я уселся, плотно завернувшись оленьим мехом. Са-

моед поднял хорей, взял вожака-оленья за единственную вожжу и, переваливаясь, пошел вперед; олени послушно двинулись за ним. Выйдя на ровное место, он на секунду приостановился, выпустив всю вожжу и крепко замотав ее свободный конец на руку. В то же мгновение олени рванулись и понесли, как бешеные. Я едва усидел. Самоед на всем бегу вскочил на сани и оглушительно гикнул. Тучи снеговой пыли, мерзлые комья, куски льда полетели мне в лицо. Жгучий ветер захватил дыхание. Вытянувшись в нитку, летели по обеим сторонам саней белые собаки.

У меня слегка кружилась голова. Я закрыл глаза. Жуткое и в то же время приятное ощущение охватывало все мое существо. Я чувствовал, как визжал под полозьями скованный снег или бесшумно расступался, когда мы попадали на рыхлое место; тогда сани проваливались в глубокую впадину, все на мгновение скрывалось в клубках снежной пыли, а в следующую секунду подхваченные могучим бегом мы неслышно скользили по гладкой почти утрамбованной поверхности.

Далеко позади мелькнули последние жилые строения. Мимо нас, увлекаемые неудержимым бегом, неслись оледенелые кустарники и серебристые, отягченные иглистым инеем березки, предвестники мертвой равнины, необозримым простором надвинувшейся к холодному морю. Ветер жег глаза, вызывая слезы, и они мгновенно замерзали на ресницах.

Я весь отдавался движению, отдавался пространству, которое, чудилось, поглощало меня, расступаясь в то же время зияющей далью. Молодость, жажда жизни,

жажда счастья, накопившие силы и какие-то смутные желания приливали в виду этого бесконечного простора, в виду синеющей дали, манившей к себе смутной надеждой, радостными порывами к учащенно бившемуся сердцу.

Уже давно назади пропали на горизонте черными точками последние деревья. Вокруг нас раздвинулась

таинственная снеговая равнина, очерченная вдали лишь синеватой линией горизонта. Она с неуловимой быстротой убегала из-под нас, отливая мириадами снежинок колодные лучи угасавшего светила. Я ни о чем не думал и не мог думать: мысль точно убегала с пропадавшим назади пространством. Порой только, по странной ассоциации, в мозгу вспыхивало то или другое воспоминание, тот или другой образ, которые, казалось, совсем не вязались с теперешним состоянием, но они так

же мгновенно пропадали, точно сорванные страшной быстротой. Я только непосредственно чувствовал, как ветер жег мне лицо, как назади исчезало пространство и снова нарождалось впереди, все дальше и дальше отодвигая линию далекого горизонта.

Мой возница все время угрюмо молчал, как-то боком приткнувшись на санках, точно прислушивался, как водка горячими струйками пробиралась по его жилам. Изредка только он приподнимал хорей и потрясал им, точно длинным копьём, но олени и без того увлекали нас с быстротой, закинув на свои широкие спины ветвистые рога.

А равнина убегала назад, пустынная и однообразная, не давая глазу на чем остановиться, отдохнуть:

ни малейшего возвышения, ни малейшего пятна - все бело, пустынно и ровно. Вдруг самоед привстал, взмахнул хореом и пронзительно гикнул. Олени подхватили и понеслись еще быстрее. Мой слух внезапно поразили странные звуки, выходившие, повидимому, из глотки моего возницы. Очевидно, водка-таки справилась с этим упрямым организмом и разлила по нем то особенное ощущение, когда является неодолимая потребность проявить внешним образом свое внутреннее состояние. Над пустынной равниной зазвучала песня, и ветер, срывая ее с губ, разносил в разные стороны, теряя в необозримом пространстве.

То была песня самоеда.

Впрочем, то была не песня, а странное сочетание гортанных звуков, нанизанных на одну и ту же нескончаемую ноту, без оттенков, без выражения, без внутреннего содержания, без затаенной грусти или радостного веселья. То был печальный отзвук мертвой природы, отзвук такой же печальной жизни дикаря, что проходила длинной вереницей однообразных дней в убогом чуме, не оставляя следа. И неслышно было в ней ни воспоминаний прошлого, ни надежд в будущем, ни сожаления, ни ожиданий. Она бог весть откуда приходила и бог весть куда исчезала. Она напоминала тоскливый вой собаки, а порой походила на непонятное бормотанье безумного. Я слушал, и эта бедная, убогая, забытая и забитая жизнь проходила передо мной с своим невежеством, грубостью, беспощадной эксплуатацией и непрестан-

ным вымиранием. Я дернул своего возницу,—он обернулся.

— О чем ты пел? — крикнул я ему, чтоб ветер не унес моих слов.

— А-а! я всегда так!

И он стал переводить свою песню. Он пел о том, что везет барина и что этот барин хороший, начальство только небольшое, а вот есть большое и сердитое, и что поэтому этого барина он должен не потерять; и что едут они шибко, и кругом снег, а над снегом бежит ветер от «камня», и что скоро они сделают большую перебежку, и тогда олешки поедят снегу и подышат, и что солнышко село, и кругом никого не видеть.

А кругом, действительно, было пусто, и над горизонтом далекой полосой протянулось кровавое зарево заката. Равнина приобрела вдруг фантастический вид: от края до края подернулась она багрянцем — точно нежная шелковая ткань. Казалось, мы ехали по насквозь пропитанному кровью снегу.

В воздухе чувствовалась перемена; мороз словно всосался и отвердел в ледяной коре необозримой равнины. Ветер уже не жег так лица. Я поднял голову и посмотрел вверх: там, колеблясь, ходили тени, и клубились странными очертаниями темные массы. На яркую полосу заката надвигалась лиловая туча. Казалось, огромные массы снега собственной тяжестью тихонько сползали с зенита по скату на далекий запад.

Самоед тоже посмотрел вверх и покрутил головой. Он потянул единственную вожжу, олени круто свер-

нули в сторону и мгновенно остановились; в ту же секунду самоед соскочил на землю, и облегченные сани, пробежав мимо оленей, врезались в снег.

Олени тяжело дышали, высунув языки. Горячий пар со свистом вырывался из раздувавшихся ноздрей; взмыленные бока обмерзали белой пеною. Мы сделали верст тридцать, и надо было дать оленям отдохнуть. Они с жадностью ели снег и, разрывая широкими копытами, доставали мох. Белые собачата тоже усиленно дышали, повысунув длинные языки, и с наслаждением валялись по снегу. Самоед что-то возился у саней.

Я встал, чтоб расправить члены, и огляделся: насколько хватал глаз, тянулась мертвая равнина, теряясь в потемневшей дали. Мы были совершенно одни среди молчаливого простора. Надвигалась ночь. Она шла, казалось, из-за туманного севера, и мгла легким флером скрывала ее мрачное лицо. А вверху над нами ходили призрачные тени, и смутно двигались белесоватые массы, тяжело клубясь в вышину. Надо было ждать снежной бури.

По мере того как сгущалась мгла, в сердце незаметно прокрадывалось острое чувство одиночества и полной отрезанности от всего живого, дорогого, близкого. Таинственные равнины, на сотни верст раскинувшиеся мертвыми снегами, раздвинулись бесконечной границей до льдистых берегов, где шумело пустынное море и лишь ходили седые исполины — торосы, да тяжело двигались ледяные поля, приходя от неведомых, недоступных человеку стран. А вокруг ни одного живого существа, ни признака жизни.

— На-ко, пососи, — прервал мои думы самоед, протягивая мне кусочек льда, который он наколупал из какой-то посуды.

— Что это такое?

— Пососи, согреешься, и радость будет. — Да что это, вода, что ли?

— Водка.

— Что-о?

Самоед утвердительно качнул головой.

— Пососи, согреешься, и радость будет.

Я взял и стал сосать, как сосут дети леденцы.

Лед растаял и превратился в отвратительную жидкость, ожегшую мне рот чистейшим сивушным маслом. Я выплюнул.

— Ниче-эго, второй сорт. У тебя дома хороша, а это второй сорт. И он помолчал.

— Много ее идет — этой-то.

— Еще бы. Когда тут половина воды.

— Нас много приезжает — они второй сорт де-лают, — пояснил он мне, — не хватает.

— То-то вы ее и грызете.

Он осторожно положил себе в рот несколько кусочков. Темнело. Вдали крутился снежный столб.

— Ну, ехать! — заявил самоед, заботливо укладывая посудину с мерзлой водкой. Он, видимо, торопился.

Мы отправились.

Ветер внезапно стих. Среди наступившего молчания резче выступила мертвенная неподвижность окружаю-

щей пустыни. Легкие хлопья снегу стали попархивать из потемневшего воздуха, точно белые мотыльки. Отдохнувшие олени хотя и бежали быстро, но самоед чаще и чаще помахивал хореом, тыкая в круп то одного, то другого.

— Ксс, ксс, кысс... — как-то странно шипел он, и олени, послушные знакомому звуку, бежали быстрее.

Откуда-то со стороны смутно доносился глухой, сдавленный гул. Чувствовалось, что на нас медленно и неотразимо надвигались тяжелые массы. Жуткое ощущение мимовольно закрадывалось в сердце.

Я вспомнил, чтоб успокоить себя, рассказы о поразительной способности самоедов ориентироваться на необъятных пространствах тундры при самых, казалось бы, безвыходных обстоятельствах. Тысячи неуловимых для культурного человека примет служили ему самыми верными указаниями пути. Если его обступал на сотни верст дремучий лес и терялось направление, он считал ветви вековых сосен, и более обнаженная сторона указывала ему холодный север; разыскивал муравьиные кучи, всегда расположенные на-полдень. Если безмолвная тундра охватывала его мертвым простором, а далекое небо заволакивалось холодной мглой, скрывшей божьи знаки, он рылся в снегу, отыскивая траву и камни, и по их положению, цвету и форме открывал дорогу. За сотни верст через реки, болота и озера, сквозь снега и дремучий лес он приезжал как раз к тому месту, куда ему нужно было.

Но как я ни старался уверить себя в замечательном инстинкте самоедов, сердце невольно сжималось в виду

приближавшейся неизвестности. Мы были одни, и никто в мире не мог нам помочь.

Тот тусклый отсвет, что слабо брезжил с далекого заката, внезапно погас. Вокруг нас закрутился белой полосой снежный вихрь. Огромные массы снегу обрушились на нас, точно горная лавина. Кругом беззвучно забушевал ветер, словно вой и гул бешеной бури поглощались бесчисленными хлопьями снегу, сплошной массой ниспадавшего на исчезающую из вида равнину.

Белесоватый мрак, всюду волнующийся и колеблющийся... Где же дорога? Где пройденный путь? Казалось, небо и земля соединились непрерывной завесой. Вихрь, мгла, снежные массы, — все перемешалось в хаосе. Это была не буря, это было страшное напряжение стихии, наводившее ужас своим подавленным молчанием. Нас погребали глыбы рыхлого снега, а в следующее мгновение его сносило бешеным натиском циклона. Там, где за минуту, углубляясь, лежали впадины, теперь высились снежные холмы, точно могильные курганы в степи, а на месте возвышений зияли глубокие провалы.

Внешний хаос рефлексивно отражался и на моем внутреннем состоянии: сознание разбросалось, не было определенной мысли, и в то же время отдельные представления быстро проносились, не слагаясь в целое. То вспыхивало острым предчувствием, пронизывая все существо, сознание возможности близкой гибели и жгучая боль сожаления молодой жизни; то мне вдруг представлялось, что теперь олени проваливаются по самое брюхо, с трудом вытягивая ноги из рыхлого снега, хотя мне их не было видно из-за снежной пелены; то я вспо-

минал об удивительном инстинкте самоедов — и робкая надежда согревала сердце; то сосредоточивал вдруг все свое внимание на коротком ремне, за который я крепко держался.

А буря неслась вокруг по гигантской опирали. Глаз ничего не различал. Порой только среди мрака белела метель, развеваясь по ветру снежной полосой.

Вдруг олени стали. Это было ужасное мгновение! У меня застучало в голове, и острая мысль прожгла сознание: «Неужели же стали?... неужели конец?..» Я напряженно, почти судорожно вглядывался во мрак, боясь спросить самоеда о причине остановки: что — как вдруг в ответ послышится испуганный, дрожащий голос: «Олешки пали... пропадаем!..»

Это была остановка на несколько секунд, а у меня в мозгу пронесся целый рой мгновенно сменявшихся картин и обрывков мыслей, подобно тому как иногда над головой проносится вихрь, крутя легким роем опавших листьев.

«Боже мой, неужели же в самом деле конец!.. так вот — разом... так скоро... без всякой подготовки... Да не может быть!..» Я вгляделся широко раскрытыми глазами во мрак: да, мы стояли. «Да что же это такое?.. замерзнуть... Зачем же тогда все то... гимназия, университет... читал, думал, любил... для чего же все это? Неужели же так-таки конец? Ведь жил... смеялся, иногда мне стыдно бывало... когда все это вот сейчас, навсегда кончится, ничего не будет, и как мог я бессмысленно смеяться, когда вот теперь скоро меня самого не будет, совсем не будет...» Я с тоской огляделся —

один только мрак, хоть бы что-нибудь видеть... «Да ведь надо же когда-нибудь умирать?.. Да, когда-нибудь, только не теперь... только бы вот в этот раз, сейчас вот только не потонуть, не застыть в снежной мгле...»

Все это я скорее почувствовал, чем подумал. Я кинулся к самоеду, и в то же время в голове смутно пронеслась эгоистическая мысль: «Я не один... и ему ведь жаль жизни...»

Но тут сани дернуло, я покачнулся и схватился за сиденье, а в облегченной груди затрепетала радость, что призрак смерти, так бессмысленно глядевший в лицо, внезапно исчез. Мы подвигались, а буря носилась над нами во мраке, точно невидимый сонм духов. Сани то грузно взбирались на снежную гору, то бешено летели в глубокую падь; подчас они совсем почти опрокидывались, заваливаясь в сугробах, но поразительно выносливые олени пробирались сквозь снежные груды. Я едва держался. Я боялся, что вывалюсь из саней, и меня мгновенно засыплет. Самоед заметил это, остановил оленей, достал веревку и спокойно обратился ко мне:

— Слезай.

Я встал. Он поправил олени шкуры, разостлав их по всей длине саней.

— Ложись, — категорически заявил он.

— Для чего? Зачем это ложиться?

— Ничего, ложись.

— Да зачем же ложиться-то? — «Уж не одурел ли он с водки?» — мелькнуло у меня.

— Ну, ложись, мне отвечать, ты вывалишься, замерзнешь — и ничего себе, а мне ответ, а начальство

сердитое, вишь, — и он показал на свои выбитые впереди зубы.

Я повиновался и растянулся на узеньком сиденьи саней. Я чувствовал, как веревка несколько раз обвила меня и прихлестнулась к саням; самоед преспокойно прикрутил меня к саням, как привязывают барана или куль муки, чтобы не быть в ответе перед строгим начальством за неисправную доставку такого ценного груза.

«Все к лучшему в этом лучшем из миров», — подумал я и совсем спрятал голову в капюшон. В моей меховой оболочке было тепло и совершенно темно. Я не мог разобрать, стоим ли мы на месте илидвигаемся вперед. Я чувствовал только, как сани переваливались то в ту, то в другую сторону, как наклонялись вперед и назад, точно легкий челн посреди вспененных валов разыгравшегося в непогоду моря. Я чувствовал, как надо мной носился ураган и порой засыпал тяжелыми глыбами снега, в следующую же секунду срывая их бешеным натиском. Я неподвижно лежал, прикрученный к саням, как тук товара.

Первое время я напряженно и чутко прислушивался, что делается там: не выбились ли из сил олени, не остановились ли сани, не начинает ли стихать буря. Но мало-помалу напряжение стало ослабевать, в голову начали лезть посторонние мысли. Сначала я было старался их гнать и прислушивался, что делается там, но внимание утомлялось все время сосредоточиваться на буре, и я незаметно для самого себя забывал свое положение, и в голове начинали всплывать картины и образы, совсем не вязавшиеся с теперешней обстановкой.

«А ведь, собственно, дело-то нисколько не изменилось, не улучшилось», — пытался было я урезонить себя, чтобы не уклоняться легкомысленно от теперешнего положения, но тут же в голову приходило соображение: «Ведь целый народ так живет, — не вымерз же. Не мне первому, да и самоед, чай, не раз и не два бывал в таком положении, уж он знает, а ведь ни капли не беспокоится», — и я старался, насколько позволяли веревки, поудобнее примоститься в санях.

Очевидно, нервное напряжение уже было израсходовано. Мне нечего было делать в моей меховой скорлупе; от внешних впечатлений я был изолирован. Снежные волны, баюкая, мерно качали, и их мягкие размахи навевали неясные воспоминания и смутную дрему, смежая очи.

Передо мной то проступали былые картины еще недавно покинутой университетской жизни, то вставали, заслоняя прошлое, угрюмые, скучные дни глухого захолустья, куда я был назначен исполняющим должность следователя, то приходило на ум дело, для расследования которого я ехал в глубь тундры. Порой я прислушивался, как надо мной гудел снежный ураган, как покрикивал на оленей самоед, как мягко качало мой импровизированный челн; потам опять тянулись образы и думы, потихоньку тускнея и смешиваясь. Веки тяжелели, дрема веяла забытьем.

Мало-помалу мне стало представляться, что я совсем не еду на оленях, что буря давно смолкла и ушла снежными столбами и что кругом расстилается родная

степь, взбегая на высокие курганы — память старины — широкими изгибами. И тихие воды скользили подвижной поверхностью, и лес, отражаясь с берегов, шумел заздравною песнью, и молодая весна в нежной зелени, увенчанная золотом ярких лучей, наполняла истомой чутко дремлющий воздух. И чувствовалось биение незримой жизни, разлитой вокруг. Я хотел глубоко, всей грудью вдохнуть с наслаждением весеннюю свежесть, но грудь не подымалась, точно придавленная свинцовой тяжестью. Это было мучительно-тягостное ощущение. Я употреблял все усилия, чтобы вздохнуть — и не мог: что-то тяжелое, неподвижное, как каменные об'ятия, давило мне грудь. Я изнемогал в бессильной, подавленной борьбе; все погасло и исчезло в невыносимом напряжении. Я начинал сознавать, что только внешний толчок выведет меня из этого положения, сам же я не мог двинуть ни одним мускулом.

Надо мной вдруг раздался чей-то голос; я бесконечно обрадовался и в то же время почувствовал, что не в состоянии больше выносить нечеловеческой муки задержанного дыхания. Мне казалось, что продлись только еще секунду это состояние, и со мной случится что-то ужасное.

— Встава-ай... вста-а-вай... — раздалось надо мной, и вдруг сковывавшая меня неподвижность спала, как спадают распавшиеся ржавые цепи. Я радостно открыл глаза, чувствуя, что освобожден от навязанного качкой тяжелого кошмара.

— Живо-о-ой!.. — флегматично протянул самоед, толкавший меня перед этим. — Я думал, замерз.

Мы стояли.

Вокруг оленей и саней быстро росли снежные груды, грозя похоронить нас. Буря бешено взрывала на воздух столбы снежной пыли, разметывая сугробы. Теперь, после сна, я различал вой и свист ветра — в санях, между оленями, в снежных сугробах, в ушах у меня.

— Пережить, олешки не бегут, вишь ты! — и самоед указал на грозно теснившиеся вокруг снежные горы.

Он снял с саней оленьи шкуры, и мы кое-как устроили из них род шалаша. Пока мы возились, снег совсем завалил нас талою грудой.

Над нами безмолвно сомкнулась холодная рыхлая масса. Мы были отрезаны от всего мира, от всего живого. Ураган медленно засыпал нас. Слой снежного покрова постепенно утолщался. Угасали последние звуки. Буря смолкла. То, что находилось там, наверху, подымалось все выше и выше. То была жизнь; мы опускались в бездну. Гробовое молчание воцарилось в нашем снежном склепе, точно это была глубокая могила, немая и темная. И это мертвенное безмолвие, как подземный червь, высасывало сознание, подавляя в нем прежние впечатления и навевая безучастие и неподвижность апатии.

Мною медленно овладевало странное оцепенение; не хотелось пошевелить ни одним мускулом, точно меня сковывал летаргический сон. Мы были погребены в тундре, а сознание опасности и чувство самосохранения притупилось и померкло. Я ни о чем не думал, да у меня и не было потребности мысли. Воспоминания,

былые годы и все пережитое смешалось и отступило смутной толпой и незаметно потонуло в сером колорите неподвижного безмолвия, словно забвение запало в душу. Смутная ярема веяла на отяжелевшую голову, точно тяжелые сновидения усталого человека в полуденный зной, но я не спал. Все погасло. Ощущения исчезли. И если у меня было осознанное ощущение, так это было единственно ощущение неподвижности, покоя, пустоты. Казалось, время остановилось в своем непрерывном беге и застыло в неподвижных формах.

Это было странное приближение к небытию.

Не знаю, долго ли продолжалось такое состояние, — может быть, несколько минут, а может, несколько часов, — только вдруг я почувствовал, что в мой заколдованный круг пустоты и покоя врываются внешние впечатления.

Первое ощущение — было ощущение холода. Я почувствовал, как на лицо мне упала снежинка и, растаяв, побежала холодной струйкой. Затем я услышал шорох: самоед собирал оленье шкуры. Я, наконец, очнулся совсем.

Над нашими головами рыхлой массой смыкался снежный купол. Тонкие отверстия, пробуравленные дыханием, уходили вверх. Надтаявшие сосульки висели сверху льдистыми отростками, точно сталактиты в подземной пещере.

Самоед пустил оленей вперед. Рогами и копытами они проложили дорогу. Я вышел через узкий коридор, точно через тоннель в снежной горе.

Когда я глянул вокруг, смешанное восклицание удивления и испуга невольно вырвалось у меня.

Мы были в середине фантастической картины. Она развертывалась вокруг, как сцена огромного театра.

Казалось, то был эпилог, последняя немая картина только что закончившейся драмы. Переливая фосфорической игрой отраженного сияния, дрожала вокруг нас неуловимым колеблющимся светом серебристая равнина, развертывавшаяся правильным кругом до той границы, где небо нисходит на землю. Синеватый огонек искрился в мириадах кристаллов, рассыпаясь цветами радуги.

То был странный, сказочный свет — смешение

всех цветов. Тяжело поднимаясь, смыкался над этой равниной сводчатый купол, усеянный горевшими звездами, точно купол огромного храма, освещенный лампадами. Чья-то неведомая рука кинула на этот тяжелый свод хаотическое смешение цветов, утомлявших глаз своим беспорядочным блеском. Они вспыхивали и выступали нежными тонами, мгновенно смешивались в причудливые, неуловимые комбинации. Казалось, то была раздробленная радуга.

Порой меркла эта блестящая игра, потухали яркие звезды, и непроглядною мглой выступал мрак, точно кто-то задерживал небосклон тяжелою завесою, а через секунду сверкающий свод снова дрожал таинственной игрой неведомых огней. Но из этого хаоса мало-помалу проступали смутными, порой исчезающими очертаниями световые контуры, — они дрожали и колебались, потухая и вновь вспыхивая. Так, среди нестройных ак-

кордов огромного оркестра, подготавливающего свои инструменты, проступают и звенят нежные мелодии, предвестники фантастической музыкальной картины.

И вдруг это неопределенное световое движение сконцентрировалось интенсивными колебаниями, и вдоль свода от потемневшего горизонта до сверкающего зенита потянулись блестящие колонны, точно этот тяжелый купол нуждался в поддержке. Это был последний штрих огромной картины, народившейся на моих глазах.

А внутренность этого громадного храма, от сверкающей земли до сияющих небес, была наполнена застывшей, недвижимой и прозрачной, как стекло, массой. И звезды ярким мерцанием лили сквозь нее лучистое сияние, точно бесчисленные светильни во время богослужения. И чудилось, что в этом таинственном храме совершалось служение неведомым силам, и дым гигантских кадил проносился из-за темного горизонта по горевшему своду.

— Садись, — проговорил самоед. — Садись, — металлически прозвучал в сгущенном воздухе звук его голоса и сейчас же замер, скованный морозам.

Я сел. Мы понеслись. Снегу почти не прибавилось: буря смела набросанные ею же сугробы и понесла огромные снеговые груды к немолчному вечно седому морю.

И снова вокруг нас раздвинулась немая пустыня, только теперь озаренная сказочным отблеском фантастической световой игры.

Сначала я долго и с интересом всматривался в необычайное зрелище развернувшейся передо мной кар-

таны, но лотам глаз мало-помалу стал привыкать, световая игра не слагалась более в новые комбинации, напряжение ослабевало, и над снежной равниной опять водворилось унылое однообразие. Я глядел, как бежала равнина, и в голове длинной вереницей так же бежали неясные думы. Однообразие и мороз нагоняли дремоту.

Вдруг олени круто свернули в сторону и понеслись, что было силы, обдавая нас тучей снежной пыли, сверкавшей в морозном воздухе холодными искрами.

Удивленный этим внезапным порывом, я обратился к самоеду и спросил, что это значит. Самоед пристально смотрел в сиявшую снежным покровом даль и, казалось, не слышал вопроса.

— Наша, — проговорил он, махнув хореом.

Я посмотрел то тому направлению: сквозь серебристое сияние снежной равнины почти на самом горизонте смутно выделялась темная масса. Она казалась одушевленной, шевелилась и, быстро приближаясь к нам, разрасталась, распадаясь на отдельные неясные силуэты. Собаки, бежавшие возле наших саней, насторожили свои острые уши, потянули морозный воздух и громко и весело залаяли. От приближавшейся к нам темной массы также донесся слабый лай, задержанный расстоянием.

Когда я различил, что это живые существа, я почему-то ужасно обрадовался. Это было радостное ощущение присутствия жизни среди немного и мертвого пространства. Потемневшее перед тем сияние дрогнуло, заколебалось и, вспыхнув, вдруг озарило до самого

края мертвую равнину холодным отблеском побежавших по своду огней. Я разом различил целый лес оленьих рогов, причудливо ветвившихся заиндевевшими отропками. Этот живой лес, колыхаясь, быстро приближался к нам.

Мы с'ехались. Впереди, указывая направление, на легких санях быстро мчались несколько самоедов с длинными хорями в руках. За ними, взрывая искристую пыль и скрипя по морозному снегу широко раздвоенными копытами, бежало несколько сот оленей, кутаясь в облаках с шумом вырывавшегося из ноздрей горячего дыхания. С боков бежали собаки, не давая оленям разбежаться.

Колыхаясь, мелькая ветвистыми рогами, обдавая нас тонкой снежной пылью, пробежало мимо стадо, оставив за собой широко проторенную дорогу, по которой потянулись уже нагруженные сани. Длинные жерди, служившие скелетом чума, далеко высывались из саней, чертя по снегу. Прокопченные олени меха лежали на них черною кучей, прикрученные ремнями.

Вдруг меня поразило неожиданное зрелище: перед нами потянулась печальная вереница саней, на которых угрюмо стояли длинные черные и красные гробы. Я всмотрелся пристальнее, — не ошибся ли я? Но нет, это действительно были гробы, прихваченные к саням веревками. Перед нами тянулся похоронный кортеж.

Это было странное зрелище. Мертвая равнина все так же безмолвно расступалась мертвым простором, белый саван безжизненно покрывал глубоко прокаленную морозом почву, и с высоты колеблющийся фосфо-

рический отсвет неверно озарял недвижную пустыню, как озаряет неверный отблеск погребальных факелов путь к вечному успокоению. И среди этой голой и мертвой пустыни угрюмо проходила печальная процессия, и чудилось, что кругом без конца и края протянулось безмолвное кладбище. Казалось, сама природа, сама жизнь погребены здесь в холодных объятиях мертвого простора. Не знаю почему, только мне вдруг вспомнились унылые звуки самоедской песни. Да, это были звуки похоронной песни; только эта холодная пустыня — немое кладбище протекших веков — могла породить эти звуки.

Между тем, печальный кортеж прошел, и шествие замыкалось арьергардом легких саней. Мой возница остановил оленей и подошел к последним саням. Сидевший на них самоед тоже остановился. Они обменялись несколькими короткими фразами, и мы тронулись дальше.

Я долго следил за этим странным поездом, пока он не превратился мало-помалу в небольшое пятно, потом — в точку и не исчез в серебристой дали.

Мы опять остались одни среди безмолвной равнины, и перебегавший отсвет сияния неверно озарял наш бесконечный путь.

— Кто у вас здесь хоронит мертвых? — обратился я к самоеду, припоминая похоронный поезд.

— А сами...

— Без попа, разве?

— Где нам попа брать. Сами зароем. Поп — где?

У моря живет, в деревне, тундру всю проехать. Нам

нельзя. Сами зароем, а в деревне будем — горсточку земли привезем от покойника; поп над ней дымом пустит, молитву сделает. Нам нельзя.

— Да ведь иным, небось, редко и в деревне-то приходится быть?

— И год, и два пройдет, и больше. Ну, ничего, все-таки привезешь земли, поп дымом махнет. Нельзя — надо так.

— Ну, а куда же это те самоеды, что проехали, везут мертвых?

— Нет мертвых—все живой.

— Как нет? а гробы?

— Не гроб — сундук.

— Так это сундуки-и... — протянул я разочарованный.

— Сундук. На новую стоянку, — добавил он, помолчав. — Многа есть: малицы, шапки из оленя, мех — многа добра.

Олени бежали быстро и розно. Мы подвигались все вперед и вперед, но, когда я оглядывался, мы, казалось, находимся все на том же месте — в центре заколдованного круга. Собаки опередили оленей и, забежав вперед, подняли острые морды вверх и тоскливо завыли.

— Зверь, — пробурчал самоед, махнув вперед хореом.

Я всматривался вдаль, но как ни напрягал зрения, ничего не мог разобрать: снежная даль все так же серебрилась, дробясь мириадами искр. А собаки нет-нет остановятся и опять завоюют, подняв морды. Наконец, я

различил в стороне темные перебежавшие с места на место пятна. Их было много.

— Волк, — проговорил самоед. — Проклятый зверь, — и он прибавил что-то по-своему. — За оленем идет по следам. Повалятся с дороги — много перережет.

Я не имел с собой никакого оружия, а волчья стая была велика.

— А что, не попробуют они наших оленей? — спросил я.

— Не-эт, человека боится. А ты не бойсь, тебе не будет кушать, я отгоню, — протянул он, точно угадывая мою тревожную мысль, и взмахнул на оленей хореем.

Волчья стая пропала далеко позади, и успокоившиеся собаки, прискакивая, трусили возле саней.

И мы опять бежали среди равнины, и мне опять чудилось, что мы неподвижно стоим в центре гигантского круга, и над нами висит сверкающий овод, а под нами, мелькая, бесконечно убегает снежная равнина. И бежала она навстречу нам без конца и краю и без конца и краю пропадала позади, и бежало время вечной чередой, — а мы все стояли в центре неподвижного круга.

Снег повизгивал под полозьями саней, олени уносили нас размашистой крупной рысью, широко раскидывая ноги и слегка покачивая своими ветвистыми рогами. Порой вожак поворачивал красивую голову то в ту, то в другую сторону, точно хотел оглядеть: много ли еще осталось бежать, а потом опять вея запряжку, мелькая широким крупом.

Несколько раз мы останавливались, давали отдохнуть оленят и потом опять продолжали путь. Мне начинала надоедать эта бесконечная езда, такая же унылая, как и окружающая равнина. Стало сказываться утомление. Надоело сидеть, но не хотелось и ложиться. Не хотелось и думать ни о чем, точно эта бездеятельность и унылое однообразие утомляли мозг и опустошали сознание. Иногда я поднимал голову и глядел на сияние, но теперь оно уже не производило прежнего впечатления: глаз привык.

«Хоть бы скорее доехать», — все чаще и чаще мелькало у меня, и я принимался мысленно следить за тем, как с каждым взмахом ноги, с каждым ударом копыта укорачивалось расстояние между нами и невидимым, затерянным где-то среди тундры чумом, куда мы ехали.

Время тянулось мучительно медленно, и чтобы хоть как-нибудь убить его, я принимался считать секунды: раз, два... пять... десять... сорок... шестьдесят — минута... Два, три... пятьдесят... шестьдесят — другая, и так набиралась минута, и за ней начиналась другая и опять тянулась и слагалась из шестидесяти ударов, и я мысленно откидывал их из того времени, что осталось нам ехать; но скоро это занятие надоело, и я опять рассеянno глядел на мертвую равнину, — и опять она мелькала мимо снежных покровов, и ее неподвижное молчание и безжизненность опять тяготили опустошенное сознание.

Да, тундра всасывала меня, захватывала и подавляла своей неотразимой мощью отсутствия жизни и необъятного простора. «Хоть бы уснуть», — думал я и про-

бовал ложиться, но так как сидение было узко, а я не был привязан, то приходилось постоянно следить, что-бы не выкинуло на ухабе, и схватываться каждый раз, как подбрасывало сани, а это отгоняло сон. И я опять садился и опять глядел на убегавшую равнину — и так бесконечно тянулись минуты, часы. Тоска!..

Между тем, сияние стало бледнеть и гаснуть. На востоке чуть заметной полоской занимался коротенький зимний день на смену долгой зимней ночи. Кто-то невидимый старался погасить и звезды, но они, трепетно мерцая, с усилием вспыхивали, как вспыхивает последним отблеском пламя свечи, когда на него набегают порыв ветра. Равнина потеряла резкий контур своих очертаний и потускнела. В воздухе разливался тот не-определенный полусвет, что служит границей между уходящей ночью и наступающим днем.

Мы, сломя голову, неслись по глубоким ухабам и выбоинам, которыми была изрыта вокруг вся местность. Сани страшно кидало во все стороны, и я ежеминутно ожидал, что вот-вот мы с самоедом вылетим из них, как две бомбы.

Вдали темным конусом курился чум. По равнине там и сям бродили олени. Они били копытами по смерзшемуся снегу, доставая мох, и часто видны были только задние ноги, круп да кончики рогов: животное почти всем туловищем уходило в выбитую им в снегу яму. Заслыша нас, они быстро вскакивали и чутко настораживали уши, высоко подняв ветвистые рога, а потом опять спокойно принимались за работу, далеко выбрасывая своими мощными копытами снежную струю.

Недалеко от чума расползался низкорослый кустарник, окаймляя озеро или речонку. Кое-где торчали корявые березки и приниженно, точно стыдясь своего собственного существования, протягивали к земле уродливые ветви. Возле самого чума небольшое пространство было обнесено опрокинутыми саями и вбитыми в землю кольями с протянутой по ним веревкой. Внутри, понуро наклонив голову, стояло с десятков оленей, вероятно, загнанных для запряжки. Тут же виднелись на саях знакомые мне гробы.

Олени бешено несли нас, чуя впереди отдых, а самоед, вместо того, чтобы сдерживать вожака, молодецки ухал и помахивал хореем. Через минуту наши сани с разбега врезались в снег возле самого чума.

Я встал. Полы чума отворились, и к нам вышел сам хозяин, коренастый мужчина лет под пятьдесят с совершенно голым черепом, который он и не заботился прикрыть, не обращая внимания на мороз.

— А-а!.. пожалуй... пожалуй! — заговорил он, кивая головой и приподымая меховые полы чума.

Я согнулся и шагнул. Едкий дым и острый, отвратительный запах ворвани и порченной рыбы заставил меня на секунду отшатнуться, но я пересилил — и вошел.

Чум был довольно просторный. Черные, насквозь прокопченные стены сходились усеченным конусом вверх возле отверстия, куда заглядывало между концами скрещенных жердей побелевшее утро. Небольшой костер потрескивал посредине, и легкий дым вился к отверстию, увлекая порой длинными языками колебавшееся пламя. Я оглянулся, чтоб присесть где-нибудь.

— Садысь, — проговорила пожилая самоедка, подвигая к костру оленью шкуру.

Когда глаз несколько привык к дыму, я увидел двух десятских и урядника, высланных мною раньше сюда. Они теперь почтительно стояли, держа шапки в руках, между тем как их красные носы и счастливые физиономии свидетельствовали, что я приехал очень некстати. Две молодых самоедки, вероятно, дочери хозяина, шили оленьими жилами шлицы, разукрашивая их пестрыми лоскутками и не обращая ни на кого внимания. Пожилая самоедка нарезала на доске ломтиками сырую замороженную оленину и подвинула десятским с урядником. Те стыдливо отвели глаза — дескать, ведь мы на службе, а не в гостях.

Вошел сам хозяин чума.

— Здра-аствуй, здра-аствуй! — протянул он, фамильярно беря меня за руку. — Как живешь? Как добежали?.. Соскучился я по тебе.

— Соскучился? — переспросил я хозяина, с которым встречался первый раз в жизни.

— У-у!.. скучно. Ну, ниче-эго, поешь — дорога большая... Олешки теперь едят, и ты поешь, — и он что-то по-своему сказал старой самоедке.

Та достала из-под вороха оленьих шкур деревянный ящик и стала его раскупоривать.

Хозяин, между тем, уселся возле меня, поджав ноги, провел по голому черепу жесткой рукой и заговорил:

— У-у, мне и исправник — приятель, и надзиратель — приятель, и губернатор — приятель, и все ноли-

цейские — приятели, и вот они приятели, — указал он на десятских с урядником.

— Оно, правду сказать, они хучь и из самоедей будут, а человек хороший, уважительный, — отозвался один из десятских, желая откомендовать мне хозяина с лучшей стороны.

— А оленей у меня и не перечесть. Станешь считать-считать — и пропадешь в тундре. Пойдешь в одну сторону — все олени и все мои олени, пойдешь в другую — и все олени и все мои, пойдешь в третью — тоже олени и тоже мои, и в четвертую — тоже все мои олени, и в пятую...

— Ну, хорошо, хорошо, об этом после. А теперь я должен произвести дознание об истязании и убийстве вами вашей жены.

Я достал бумаги, походную чернильницу и перо. Урядник разыскал где-то деревянный обрубок и услужливо поставил возле меня вместо стола.

Эти зловещие приготовления несколько не смутили хозяина. Богач-самоед никак не подозревал, чтобы какое бы то ни было начальство могло как-либо повредить ему. Он действительно был в приятельских отношениях со всем уездным начальством. Когда он приезжал в город, чиновники наперебой тащили его к себе, угощали и усаживали за зеленое поле. Правда, самоед решительно ничего не понимал в картах и с трудом держал их в заскорузлых неумелых руках, видимо делая усилие, чтобы они не рассыпались. Ему давался помощник, самым добросовестным образом учивший его класть ту или другую карту. И самоед, от которого таки

сильно пахивало протухлой ворванью, гордый вниманием окружающих, неуклюже хлопал по столу картой, оставляя на сукне жирные пятна и приговаривая:

— Па-ашел наша!

Когда кончалась игра, и самоед, покачиваясь на санях, ехал к чуму, расположенному за городом, он соображал, сколько теперь оленей надо продать, чтобы заплатить долг чести. В свою очередь он угощал чиновников лукулловскими обедами, для чего даже купил в городе дом.

Между тем, старая самоедка раскупорила ящик, достала оттуда коробку сардинок, колбасу, какую-то копченую рыбу, пряники, леденцы и, ссыпав все кучей на доску, придвинула ко мне.

— Эта по-осле, — протянул хозяин, преспокойно убирая мои бумага. — Поешь.

— Это еще что! Вы забываетесь! — вскочил я, выхватывая у него бумагу. — Я к вам не в гости ведь приехал.

Самоед в недоумении поглядел на меня, широко раскрыв свои косые глаза. Его дочери и старая самоедка тоже с удивлением глядели, оставив свою работу.

— Ну, ниче-эго, — протянул самоед, — пусть тут лежат, все равно, а ты поешь. Водки нашей не будешь пить, вижу, большой начальник, строгий, ну, так у меня есть... — и он лукаво подмигнул мне, доставая из ящика бутылку рома.

Самоедка подала ему деревянную чашку, он вытер ее жирными руками и вылил туда полбутылки.

— Сам купил в Мезени, три рубля дал, — и он подал мне чашку. — На, развеселись.

Я потерял терпение.

— Вы слышите, что обвиняетесь в убийстве. Понимаете, я вас арестую, увезу в город, и там вас посадят в тюрьму, — резко проговорил я, чтоб заставить его понять свое положение.

— Ну, ну, хорошо, это после, ты ешь... А потом мы с тобой в карты сыграем.

— Вы теперича, Ламбей, не тревожьте их благородие, они, значит, не желают потчиваться, — проговорил урядник.

Я велел позвать работников Ламбея и приступил к допросу.

У Ламбея была жена, старая и больная женщина.

Тридцать лет прожил он с нею, и все кочевали они по тундре. Но когда он повел обширное знакомство с чиновным людом, ему вдруг пришла в голову мысль, что гораздо лучше взять себе жену из русских, молодую, красивую. Он себе и дом купил в городе и сам думал на зиму туда приезжать, — так чтобы было кому хозяйничать и гостей принимать. Отдать за него отдадут, — оленей ведь у него не перечесть. А жена его все болеет, а не умирает.

Рассердился Ламбей, вышел раз вечером из чума, — звезды на небе сверкают, сполох играет, олень полег на снегу, — вышел Ламбей, посмотрел, вернулся в чум, велел своей жене собираться.

Поднялась больная баба, вышла из чума. Подошел к ней Ламбей и ударил по лицу. Упала баба, а потом поднялась и поклонилась ему в ноги.

— Прости.

Тут Ламбей приказал одному из своих работников лучших оленей запрячь. Запряг работник оленей, захватил Ламбей бабу за волосы, кинул на сани, сам сел и велел работнику гнать.

Выехали в тундру. Звезды на морозе играют, сполох перебегает по небу, кругом пусто. Велел Ламбей остановиться, стащил бабу за волосы и ударил по лицу. Упала баба, кровь из носу бежит, потом поднялась, поклонилась в ноги: «Прости», — говорит. Озверел совсем Ламбей, стал бить бабу ногами по чем ни попало. А она, как только подымет, упадет в ноги: «Прости», — говорит.

Стояла тут недалеко березка, снег лежал на ее ветвях, и сполох играл в этом снегу. Привязал Ламбей к этой березке бабу и бил ее узловатым ремнем до тех пор, пока рука не устала, и когда отвязал бабу, она повалилась на землю и говорит: «Прости».

Совсем взбесился Ламбей, кинулся на бабу, сорвал с нее малицу, штаны, шапку и привязал без одежи, на длинном ремне, к саням, сел и велел гнать оленей, что есть мочи. Побоялся работник хозяина, гикнул на оленей, — понеслись олени и закидали их снегом.

Волочится баба на ремне, судорожно хватается руками за снег, режет снег ей руки и тело замерзшей корой, из ссадин кровь бежит, на морозе стынет; хочет, видно, сказать: «прости», да не может, — полон рот и нос набивается ей снегом. Видит Ламбей, не может баба ничего сказать, обрадовался: «Ага, подлая, — говорит, — замолчала!»

Сделали перебежку. Видит работник, шибко дышат

олешки, притомились. Жалко стало ему олешек. «Хозяин, — говорит, — надо дать олешкам подышать». Остановились, смотрят, а сзади на снегу мертвое тело лежит, скорчилось, посинело.

Велел Ламбей работнику вырыть в снегу яму. Вырыл работник яму, опустил туда Ламбей мертвое тело, засыпал сверху снегом и перекрестился; перекрестился и работник. Потом сели они на сани, и велел Ламбей ехать в чум к одному своему приятелю.

Приехал Ламбей к своему приятелю, угостил его приятель водкой, а Ламбей подарил ему лучшего оленя. Каждый год они по очереди дарили друг другу оленя, лучшего из стад. Это уже такой обычай между друзьями в тундре, и крепко держался его Ламбей.

Вечером воротился Ламбей в свой чум, велел со-гнать оленей и приказал резать их и грузить на сани. «Теперь, — говорит, — много денег мне потребуется». Сам Ламбей в своих показаниях ничуть не отпирался. Да это казалось и совершенно излишним. Здесь, безусловно, отсутствовало понятие — закон, а лишь было понятие — начальство. А начальство — все доброе, а он, Ламбей, самый почтенный и богатый человек в тундре, а разве-таки начальство будет ни с того, ни с сего пакостить хорошему человеку? Нет, уж это совсем не по-приятельски.

Что ж? Он, точно, убил. Так ведь не сегодня-завтра она сама умерла бы: хилая, больная, старая — никуда не годилась, оленем править — и то не могла. А ему надо было молодую, здоровую бабу, а то кто же угощал бы гостей в его доме в городе? А ведь у него

денег — слава богу; в самом Архангельске есть такой большой каменный и железный дом, и в каменном доме еще железный сундук, а в железном сундуке его, Ламбея, десять тысяч рублей, а у него, Ламбея, есть такая бумага, что эта деньги его, и он эту бумагу носит на груди на веревочке с крестом, а уж там его деньги никто не украдет — все железо, и солдат с ружьем, и они же, дураки, ему, Ламбею, платят за то, что его же деньги караулят. И все это научили его приятели, как найти этот большой каменный дом и как туда деньги спрятать; значит начальство хорошее и зла ему не желает, потому что и сам он хороший человек. И он, Ламбей, очень удивляется, отчего это я не хочу по-приятельски погостить у него, — тут и леденцы, и пряники, и колбаса, и сардина, и водка из-за моря, и все это он покупал для приятеля.

В конце концов, Ламбей по-приятельски хлопнул меня по плечу и добродушно посоветовал спрятать все эти бумаги. Бедняга никак не ожидал от начальства беды, которая должна была на него обрушиться.

Я окончил допрос, заставил десятских расписаться за безграмотных и спрятал бумаги.

— Вас теперь я арестую, — Обратился я к хозяину, — вы поедете вот с урядником в город и там будете заключены в тюрьму.

Самоед быстро поглядел на меня, потом на урядника, потом на десятских; лицо его конвульсивно передернулось. Он угадал, вероятно, по выражению наших лиц, что с ним случилось что-то грозное. Он инстинктивно угадал, что то, что с ним случилось, зависело не от на-

чальства, которое уж никак не могло желать ему зла, что за самим начальством стояло что-то грозное и неумолимое, и в мозгу дикаря, может быть, в первый раз неясно пронеслось смутное представление о законе. Он вдруг убедился, что безвозвратно лишен свободы. В его памяти промелькнуло вдруг то угрюмое здание с черневшими, как глазные впадины, маленькими окнами, которое он мельком видел за городом и на которое прежде никогда не обращал внимания. Он вспомнил, что кругом его мерно шагали солдаты, и на остриях их штыков играло солнце, а за громадными воротами слышался лязг цепей. В его голове не было ясного представления о том, что делалось за этими воротами, но он с чуткостью дикаря угадал, что ему никогда уже не видать родной тундры из-за высокой каменной ограды. И он вдруг вспомнил, как несколько лет тому назад туда увезли знакомого ему самоеда, и он оттуда уже более не возвращался. А теперь пришла его очередь. И лицо его опять конвульсивно передернулось, а из узких косых щелей закапали слезы. Горькая жалоба хрипло вырвалась из груди гортанным воплем. Он упал на землю лицом вниз и заплакал, как дитя.

Его отчаяние производило тягостное впечатление. Я знал, что он не дожидется даже суда. Самоеды, безусловно, не выносят тюремного заключения: в два, в три месяца их подкашивает, как подгнившую березу, скоротечная чахотка.

Дочери самоеда тоже вдруг заплакали, горько причитая, работники утирали глаза грубыми, мозолистыми кулаками.

Несмотря на утомление, я спешно стал собираться в обратную дорогу. Старая самоедка, сестра хозяина, все время с каким-то молчаливым испугом глядевшая на меня, вдруг опустилась на землю у самых моих ног и стала нараспев, гортанным говором, повторять за братом его жалобу, глядя на меня снизу и раскачиваясь всем туловищем.

— Оххо-о, бедный, повезут его в тот дом, что за городам, и где ходят сердитые солдаты и кругом стоит высокая стена. И затворят большие ворота, и не увидит он больше олешек, и не увидят его олешки, и не увидит своих дочерей, и не увидят его дочери, и я, старая, не увижу его. И будет чум его стоять посреди тундры, и не будет в нем хозяина. И когда заиграет сполох, и на небе выйдут звезды, а в чуму не будет хозяина, придут волки и скажут олешкам: «Нет у вас хозяина». И заплачут олешки и скажут: «Нет у нас хозяина». И станут волки резать олешек, а хозяин будет за большими воротами и посмотрит он через каменную стену и не увидит, как зверь режет его олешек. И придет весна, и откроются в тундре озера, и потекут реки, и прилетят откуда-то и лебеди, и гуси, и утки, и он посмотрит через каменную стену и не увидит, как открылись и озера, и реки, и не увидит, как прилетели лебеди и гуси и утки. И придет лето, и поспеет морошка, и посмотрит он через каменную стену и не увидит, что поспела морошка, И потом опять придет еще, не знаю сколько, и зима, и весна, и лето — и я, старая, умру, и меня, старую, зароют, и посмотрит он через каменную

стену и не увидит, что меня, старую, зарыли. Охо-хо!..

И самоедка, мерно раскачиваясь, как эхо, повторяла жалобу брата.

Я собрался и быстро вышел. Возле чума стояли уже готовые для меня сани. Около других хлопотал урядник. Я сел, олени рванули.

— ...И посмотрит он через каменную стену... оххо-о, — донеслось до меня и смолкло вдали.

Темный конус чума, куясь легким дымком, быстро побежал от нас к самому краю равнины. Сначала он превратился в маленький, игрушечный чум, потом в пятнышко, потом в точку — и исчез на горизонте.

В БУРЮ

I

— Ай-яй... ай-яй-яй!.. — разносились над гладкой сверкающей поверхностью моря пронзительные крики Андрейки, извивавшегося в лодке. — Де-едко... не буду!..

Дед, — коренастый, с нависшими, лохматыми с проседью бровями и изрезанным морщинами лицом, словно выдубленным солнцем, ветром и соленой водой, — одной рукой держал мальчика за шиворот, другой больно стегал просмоленной веревкой, которая так и впивалась в тело, и потом швырнул его на дно лодки. Андрейка поднялся, всхлипывая, свесился через борт и стал перебирать показавшиеся из воды мокрые сети.

Кругом ослепительно сверкала вода, по которой едва приметно шли стекловидные морщины. Горячее, заставлявшее щуриться солнце стояло высоко. Черные, начинавшие течь смолой бока лодки, протянутые к мачте, перекрещивающиеся веревки, с которых также капала смола, обвисшие, черные от грязи и смолы паруса резко, отчетливо вырисовывались сшей чернотой в неподвижно знойном воздухе.

Берегов не было видно.

Андрейка, с сердитым, сморщившимся в кулачок лицом, продолжал перебирать сеть, осторожно и крепко захватывая каждую бившуюся в ней рыбу.

Еще в два часа ночи, когда только чуть-чуть стали бледнеть звезды, Андрейка отчалил с дедом от берега. Легкий предутренний ветерок тихонько подвигал лодку. Когда рассвело и по воде и по небу побежали розовые полосы, а спокойное, гладкое море открылось до самых краев, ветер упал. Пришлось взяться за весла. Андрейка греб попеременно с дедом. Сначала работа у него шла легко и свободно, но прошел час, другой, и он стал устывать. Каждый раз как он откидывался назад, и весла с плеском проходили в прозрачной, игравшей розовым отблеском воде, ему казалось, что он уже больше не в состоянии разогнуться, до того ныла поясница и ломило руки; но он снова и снова закидывал весла, и лодка ползла, как черепаха. Наконец, дед, все время молча сидевший на корме, проговорил;

— Будя, Андрейка!

Обрадованный Андрейка торопливо пробрался по качавшейся лодке на корму, а дед сел за весла и стал молча и упорно грести. Андрейка правил рулем, глядел на разбегавшиеся из-под весел длинные водяные жгуты, на мерно и сильно откидывавшуюся фигуру деда и отирал свое мокрое, вспотевшее лицо, с наслаждением предаваясь отдыху.

Из-за моря поднялось солнце и залило светом спокойную, ровную воду. Начинался знойный день без малейшего ветерка.

Скоро показались на поверхности моря большие плававшие круглые обрубки с укрепленными на них маленькими флажками, — это были поплавки сетей. Подъехали к одному из таких поплавков, за веревку, привязанную к нему, вытащили один конец сети и, навалившись на борт, стали подвигать лодку, перебирая руками показавшуюся над водой сеть, которая тянулась в воде на несколько сот сажений. Андрейке, совсем перевесившемуся через борт, весело было смотреть в прозрачную глубину, где от времени до времени вдруг начинало что-то белеть, колебля и вода из стороны в сторону все выше и выше подымавшуюся сеть, и, наконец, на поверхности, трепеща и разбрызгивая воду, показалась бившаяся, запутавшаяся жабрами в ячейке рыба. Андрейка подхватывал ее, запуская пальцы в нежные розовые жабры, высвобождал из сети и бросал на дно лодки, где было налито немного воды. Рыба, обезумевшая от боли, страха и отчаяния, начинала биться, разбрызгивая воду, не понимая, что это с ней произошло, и пытаясь вырваться из этой тесной, ужасной обстановки, где она задыхалась, вздымая окровавленные, разорванные жабры.

Солнце подымалось все выше и выше, и зной, неподвижный, слепящий, стоял над морем, в истоме раскинувшимся под горячим небом. Андрейка, разморенный жарой, от скуки и однообразия разговаривал с рыбами, которых он вытаскивал из сети:

— Ах, ты, селедка-длиннохвостка, погоди, ужю про-
соеешь хорошенько, не будешь брыкаться! Ишь, ты,
брыкучая, ступай-ка в лодку! А ты, сазан-брюхан, пу-

зо-то наел. Вылазь, вылазь, неча колебаться, от'елся, не пролезешь никак, хитрый идол! Выла-азь... — и Андрейка вытащил и с трудом поднял вверх обеими руками большую рыбу.

— Гли, деду, пузо-то како!

Но не успел дед раскрыть рта, как сазан, очутившийся на воздухе и замерший от изумления, вдруг равнулся из всех сил, выскользнул, плюхнулся в воду, блеснул хвостом — и был таков.

Тогда-то над морем и раздались отчаянные вопли Андрейки, потому что дед, молча, не говоря ни слова, поднялся, взял просмоленную веревку, сложил ее несколько раз и жестоко наказал мальчика.

II

У Андрейки нет ни отца, ни матери. Сколько он помнит себя, он живет в белой хатке, под большой вербой, с дедом Агафоном. Возле хаты с одной стороны белеет береговой песок и синее море, с другой, насколько глаз хватает, тянется безлесная, голая, сожженная, покрытая высохшим бурьяном да полынью степь, размытая оврагами и балками.

Лет двенадцать тому назад дед Агафон жил в этой хате с семьей, с женой и пятью детьми. Случилась эпидемия дифтерита, и дети Агафона перемерли в одну неделю.

Раз как-то зимою Агафон с женой сидел вдвоем в хате. Ночная вьюга мела в черные окна. Агафон угрюмо думал о чем-то, починяя сети, жена возилась у печки. Снаружи кто-то постучал. Агафон отпер дверь,

и на пороге появилась женщина, в рубище, занесенная снегом, дрожащая, с мертвенно бледным, стянутым от холода лицом; на руках у нее в лохмотьях лежал крохотный ребенок, весь посинелый и уже не плакавший. Заикаясь, не выговаривая стянувшимися губами, женщина стала просить пустить ее переночевать. Ее приютили, накормили. Отогревшийся ребенок наполнил хату детским плачем, а жена Агафона, стоя над ним, то-и-дело вытирала слезы фартуком, вспоминая своих детей.

Женщина рассказала, что идет из Орловской губернии на Кубань разыскивать мужа, который уехал туда с полгода и ничего не пишет. Она все проела, что было, и, наконец, решила отправиться на розыски. Дорогой пришлось питаться подаяннем, по железной дороге удавалось на некоторых станциях упросить кондукторов, и они провозили ее несколько станций бесплатно, а по проселочным дорогам подвозили добрые люди. Так добралась она до Ейска. Из него она вышла рано утром, заблудилась в степи, настала ночь, поднялась вьюга; женщина уже приготовилась к смерти, как среди ночи увидела огонек одинокой хаты.

Ночью пришедшая расхворалась, бредила, металась, вскрикивала. Жена Агафона три раза взбрызнула и напоила ее святой водой, но той делалось хуже и хуже, и к вечеру следующего дня она умерла. Агафон и его жена оставили ребенка у себя приемышем.

Андрейка смутно помнит ласковую старую женщину, приемную мать, которая купала, поила, кормила его и укачивала посреди хаты на подвешенной к потолку

люльке. Он помнит также, что, когда ему сравнялось четыре года, пришли какие-то люди, сняли ее с лавки, где она спала, положили на стол под образа, зажгли свечи, а потом унесли куда-то, и он остался вдвоем с дедом Агафоном. Помнит он, что дед каждый раз, как отправлялся на море, отводил его в поселок, который лежал в овраге, в степи, верстах в трех от берега, и оставлял у своей кумы, бабки Спиридонихи. С шести лет дед стал брать мальчика с собой на море, и Андрейка часто спал на носу лодки, на подостланной дедом соломой, а над ним носились чайки, светило солнце, и летели брызги волн.

Семи лет Андрейка уже во всем помогал деду. Вставали они рано — часа в три утра. Андрейка торопливо плескал себе в лицо холодной водой, вытирался подолом рубахи, торопливо крестился на ту часть неба, где горела утренняя звезда, и, перевирая, читал «Отче наш» и «Свят, свят» — две молитвы, которые он только и знал. Потом Андрейка притаскивал кизяку, растапливал печь, чистил картошку, рыбу, варил уху. Позавтракав, они уходили в море.

И на море и дома дед заставлял Андрейку делать все наравне с собою: править парусами, грести, чинить, собирать, тянуть, спускать сети, обирать рыбу с крючьев и прочее. И Андрейка все делал, надрываясь от непосильной работы. За малейший промах, недосмотр, ошибку — дед жестоко наказывал Андрейку. Стоило мальчику на море неверно положить руль или не вовремя подобрать или отдать парус, как дед подымался и тут же, не говоря ни слова, беспощадно сек мальчика

просмоленной веревкой, от которой никогда не заживали рубцы. У Андрейки было худенькое загорелое личико, и сам он весь был маленький и худенький.

Жизнь у него проходила однообразно: кругом было только море, небо, степь да берег. Берег был голый, обнаженный, с глинистыми размытыми устьями оврагов, с песчаными косами и отмелями. Но все это однообразное пустынное пространство для Андрейки было населено и оживлено.

По степи посвистывая бегали или, как столбики, стояли у своих нор суслики; в воздухе, мелькая по иссохшей траве тенью, медленно плавали коршуны, ястреба, луны, трепетали, неподвижно повиснув, копчики; по курганам угрюмо и одиноко чернели степные орлы. Над песчаным берегом носились крикливые белые чайки, подбирая выброшенную из сетей рыбу, иногда чуть не выхватывая ее из рук рыбаков; весной и осенью тут стоял несмолкаемый гам и шум от бесчисленной пролетной птицы.

Но более всего и разнообразнее всего было населено море. Тут стадами ходили стерляди, осетры, сельди, тарань, сазаны, красноперка, вьюны; в песке кишели мириады водяных вшей, ползали крабы. В конце июля море начинало «цвести» и по ночам — светиться. Светились голубоватым светом гребешки волн, следы от лодки, разбегающиеся круги от удара весел, линия прибоя у берега, брызги, каждая капля морской воды, выведенная из состояния покоя. Этот странный колеблющийся, то вспыхивающий, то угасающий голубоватый свет казался Андрейке таинственно связанным со всеми

покойниками и утопленниками, которые нашли могилу в море.

Дед Агафон был молчалив и угрюм, но когда речь заходила об обитателях моря, морщины у него разглаживались, серые глаза добродушно смотрели из-под нависших бровей, и он готов был рассказывать по целым суткам.

— Дедко, откуда рыбы столько берется? Ловят, ловят, ловят, а она все идет. Сколько народу рыбалит, на море негде веслом опустить, — все сети.

— Бог плодит, бог ее плодит, разве у бога мало места, — сколько он воды сотворил, чтобы, значит, рыба водилась — для пропитания людей.

— А рыба знает, что ее ловят.

— Ну, а то не знает, что ль... Рыба, к примеру, вот как мы с тобой рассказываем, как встрелась друг с дружкой, сейчас так и так, мол, все и обскажет насчет рыбалков: где сети поставлены, где крючья; ну, только, конечно, по-своему разговаривает, — человеку не дадено знать... Только одни, которые утопленники в море на дне лежат, понимают, как рыба разговаривает, потому рыба их не остерегается, знает, что они уж не выдадут, плавает возле и друг с дружкой рассказывает.

Андрейка несколько минут молча смотрит на деда расширенными глазами. Ему представляется темная, синяя глубина, смутно желтеющее морское дно и на нем раздувшийся, посинелый, с открытыми в воде глазами мертвец, возле плавают рыбы и, колебля жабрами и глотая соленую воду, рассказывают друг другу, что, где

и как происходит. Рассказывают они и про него, про Андрейку, что он с дедом Агафоном сидит в лодке там, наверху и опускает в воду сети.

Андрейке становится немного жутко. Когда прежде он сидел в лодке, внешний мир замыкался для него водной поверхностью моря, и о том, что было там, в глубине, он не думал. Там была просто вода, и оттуда сети вытаскивали рыбу. Теперь же эта огромная пугающая глубина оказывалась вся засеянной не теми молчаливо-беспомощно бившимися в лодке рыбами, которых он выбирал из поднимавшихся из воды сетей, а разумными существами, которые так же разговаривали и огораждали себя от бед и несчастий, как и люди здесь, наверху.

Сверху над водой светило солнце, проходили облака, играл ветер, а в глубине шла таинственная и неведомая жизнь, враждебная Андрейке и деду Агафону, и оттого становилось жутко.

— Господь все премудро сотворил, — продолжает дед Агафон. — Скажем, сазан — рыба бессловесная, и все. А вот ежели станут волокуши тянуть к берегу, всю рыбу, какую захватят, всю на берег выволокут; а вот сазана захватят, так он весь почти назад в море уйдет. Как почует, что крутом сети, перво-наперво разбежится и, что есть духу, рылом в сеть вдарится, аж веревки затрясутся: ежели волокуша старая — прорвет, сам уйдет и всю рыбу за собой уведет; ежели видит, что не прорвать — зачнет сигать из воды, чтобы пересигнуть через сеть. Сеть к берегу высоко поднимают над водой, — тогда видит — плохо дело, вот сейчас выво-

локут, он воткнет нос в ил и песок против волокуши и, что есть силы, держится; волокуша снизу хоть и тяжелая, — камни понизу понавязаны, — все-таки по его гладкой спине так и переедет, иной раз всю спину ему стешет, ну, а он плеснет хвостом — и был таков.

— Он, значит, сазан-то, умный?

— Как же! Господь видит, люди неисчислимо истребляют рыбу, сколько ее ловят, страсть! Видит, что скоро вся рыба пропадет, он и дал разумение. Человек хитрый, ну, рыба еще хитрей. И лохматые брови деда опять низко спускаются, и он снова становится угрюмым, сосредоточенным и не-сообщительным.

Дед и Андрейка работали, не покладая рук, не зная ни праздников, ни правильного отдыха, и все, что зарабатывали, дед пропивал.

Как только ворочались они с уловом, дед сбывал рыбу перекупщикам, строго-настрого приказывал Андрейке сидеть дома, чинить сети, конопатить или смолить лодку, стачивать и навязывать крючья, зашивать паруса, а сам уходил в большое торговое село и гулял там до тех пор, пока не пропивал все до последней копейки и с себя все до последней нитки.

Андрейка, как только дед скрывался за бугром, бросал сети, крючья, недошитые паруса и убегал в поселок, лежавший в степи, верстах в трех от берега, лазал по огородам, таскал огурцы, ловил воробьев, дрался с хуторскими мальчишками на-кулачках и постоянно навешал бабку Спиридониху. Она кормила его пирогами с морковью, маковниками, рассказывала про леших,

ведьм, водяных, сказки про заморские страны, про города, которые лежали на той стороне моря.

— Дома там большущие да высокие, — говорит бабушка, глядя шершавой от работы рукой голову Андрейки, который примостился возле ее ног, уминает пирог с морковью и не спускает с нее глаз, — а живут в них все господа бо-огатые, одеваются чисто и целый год ничего не делают.

— И рыбу не ловят?

— Куда — рыбу! Хату подместь, и то гнушаются. — Я, баунька, с дедом на той стороне у Таганроге был: дома высоко-кие, а на церквах кресты все из золота, а на пристани бабы господские прогуливаются, голова вся в перьях... Баунька, а я на аглицком пароходе видал, господа ехали, в трубки на нас с дедом смотрели.

Андрейка некоторое время ест молча.

— Баунька, откуда вши водяные берутся? Вот идешь по берегу, продавишь ногой песок, они так из песку и полезут.

— Из воды, соколик, из воды эта нечисть. На, возьми пирожка еще, кушай на здоровье, сиротинка.

— Баунька, дед рассказывает, что матка моя замерзла возле нашей хаты.

— Померла, соколик, померла, болезный, замлела от морозу: стыть какая была да метель, шутка ли, — зги не видно было. Царство небесное покойной Акулине Митревне, вечный покой ее душеньке, — призрела тебя, малую сироту, и деду Агафону доброе здоровье на многие годы...

— Дерется дед, баунька, уж так-то больно бьет. Я, баунька, ежели будет бить, так убегу от него.

— Тебе же на пользу, дурачок, — побьет да пожалеет, тебе же в пользу, учит добру, а ты слухайся да не перечь.

Бабка Спиридониха была единственный человек, у которого Андрейка чувствовал себя тепло.

Ворочался дед оборванный, угрюмый и злой, находил брошенные сети и паруса, и начиналась жестокая экзекуция, от которой Андрейка с неделю еле ворочался.

III

Солнце невыносимо печет. Зной, разлитый в переполненном блеском воздухе, неподвижно стоит над морем, в котором на недостижимой глубине синее опрокинутое небо. Черная лодка со стекающей смолой и обвисшими парусами кажется висящей в пространстве, а под нею вниз мачтами висит точно такая же опрокинутая лодка.

Андрейка, не разгибаясь, вместе с дедом выбирает из тянувшейся вдоль лодки сети добычу, которой набилось туда множество. Лицо у него пылает, рот полуоткрыт, крупные капли пота падают в воду. В значительно осевшей лодке возвышается целая гора зевающей шевелящейся рыбы.

После экзекуции у Андрейки, чувствовавшего, как горят и ноют рубцы на спине, в голове толпились самые мрачные мысли. Сначала он все свое раздражение направил на сазана, который так коварно подвел его.

«Хорошо, — со злобой думал он, — брюхатый чорт, попадешься еще, небось, не вывернешься: запущу по кулаку в жабры, поверти-кось тогда. Ну, и потешусь же!..»

Но так как коварный сазан благоразумно решил не попадаться в руки Андрейке, то мысли его принимали другое направление.

«Что я ему сын, что ли, а ли крепостной, что о н лупит меня, чем ни попада. Ишь, огрел, ажно рубаху просек. Возьму да убегу... Ей-богу!.. Пойду в город, наймусь в работники али на берегу в артель стану, тоню тянуть, нехай-ка он без меня повертится. Да даром-то я не уйду: проверну дирю в лодке да заткну маленечко тряпкой, а сам в степь, ляжу на кургане и буду смотреть. Вот от'едет он, вода и вымоет тряпку, и станет он потопать. Станет потопать и закричит: «Андрейка, потопая!..» А я ему закричу: «Ага!.., а помнишь, как ты меня лупил, ажно рубаху насквозь просек...»

Жара, усталость мало-помалу смиряют Андрейку, и негодование у него на деда улегается. А дед, и не подозревая Андрейкиных каверз, преспокойно посасывая трубку, выбирает рыбу на корме. Он работает по всем правилам, сосредоточенно. Старик не любил разговоров. Он доволен сегодняшним уловом, и его нависшие, лохматые брови приподнялись несколько. К вечеру он надеялся осмотреть все сети и ночью вернуться домой.

Вдруг Андрейка услышал голос:

— Андрейка, спускай сеть да ставь парус!

Андрейка уставился на старика: что с ним сделалось? Осталось еще половину сетей досмотреть, — видно, прошел косяк, и рыбы набилось множество, да никогда они раньше ночи и не возвращались домой... Но старик не любил повторять приказаний, и Андрейка, торопливо опустив в воду сеть с бившейся в ней рыбой, быстро стал расправляться и готовить запутавшиеся шкоты и парус.

— Подверни снизу парус да спусти до половины!

Андрейка торопливо выполнил приказание, не смея расспрашивать деда. Парус обыкновенно подворачивали снизу и припускали только во время сильной бури, чтоб уменьшить площадь парусности, когда ветер чересчур уже рвал. Между тем, кругом стоял все тот же неподвижный зной, — нечем было дышать, и все так же на недостигаемой высоте и в бездонной глубине, друг против друга, синели тонкой синевой два небесных свода, и вода между ними пропадала из глаз.

— Садись на весла!

Андрейка беспрекословно взялся за весла и стал грести, обливаясь потом.

Вверху, не особенно высоко, над морем несло белое ослепительно-блестящее облачко с разорванными краями, точно это уносило оторвавшийся где-то кусочек ваты. И это быстро несущееся облачко резко нарушало впечатление знойной неподвижности и покоя, царивших на море. А дед все поглядывал то на облачко, то на горизонт, в синеве которого терялись и вода и небо: оттуда, теснясь, густо лезли круглые барашки.

Они торопливо выбирались с особенной и необъяснимой при полном затишьи поспешностью.

Андрейка, измученный, задышающийся от тяжелого зноя и напряжения, стал испытывать глухое беспокойство. По небу, за минуту до того безмятежно чистому, бежали одно за другим облака, блестящие с одной и зловеще затененные с другой стороны. Дед, все подгонявший Андрейку, сам сел на весла, и тяжело нагруженная лодка пошла скорее по тому направлению, где должен был открыться берег.

В той стороне, откуда выбирались облака, по спокойному морю вдруг побежала потемневшая узкая полоса бесчисленных морщинок, все удлиняясь и быстро нагоняя лодку. В ту же минуту забежал ветер, шевельнул парус, вздул на спине Андрейки рубаху и понесся дальше вместе с мелкой рябью, темнившей светлое лицо моря.

Опять тишина, неподвижный зной, зеркальный блеск моря и бессильно повисший парус.

Дед, угрюмый и насупленный, поднялся, аккуратно сложил весла, достал из-под сиденья кафтан, надел, подпоясался потуже, уселся на корме, пропустил шкот в кольцо возле себя и взялся за руль.

Море все покрылось темными пятнами ряби, перемежающимися с светлой поверхностью, по которой с неуловимой быстротой бежали тени облаков... И вдруг оно почернело на необозримом пространстве, от края до края.

Ветер, свистя в ушах и обдавая прохладой, мгновенно наполнил парус, и лодка, подымая перед

собой водяной бугор, с шумом понеслась, едва не поспевая за скользившими теньями облаков. Позади полосой пены потянулся длинный след.

Ветер, превращавшийся почти в ураган, не мог сразу раскатать за минуту до того спокойное море, и несмотря на все усилия, оно только все больше и больше чернело. Но дед знал коварство этих внезапных летних бурь. Они разыгрывались где-нибудь далеко и потом, налетая оттуда, пригоняли с собой уже поднятые, готовые, расходившиеся волны, которые начинали бить и неистовствовать на совершенно тихой и спокойной до того поверхности. Поэтому он, с риском опрокинуть лодку, полностью отдавал парус ветру, и они неслись с безумной быстротой, от которой рябило в глазах, и пенящаяся вода пронеслась назад, как мимо железнодорожного поезда. Открывшийся впереди тонкой чертой берег выступал все яснее, яснее.

Волны, действительно, пришли. Они шли, как грозная рать с белыми колеблющимися головами, зелеными рядами вздымающейся воды, и кругом настал ад.

Лодка зарывалась носом. Волны — огромные, с острыми подавшимися вперед гребнями и срывавшейся по ветру пеной — шли на нее с шипением, с шумом, без перерыв, без отдыха. Кипящие зеленоватые гребни то и дело обрушивались через борт. Шкоты натянулись, как нитки, а парус, оттягивая мачту, дрожал от страшного напряжения, купаясь в обдававших его брызгах. До самого неба, по которому торопливо и низко бежали серые всклокоченные, как грязная вата, тучи, стоял все заполняющий шум, из-за которого нельзя было разли-

чить ни скрипа подававшейся во всех пазах лодки, ни звука человеческого голоса.

Андрейка, уцепившийся за мачту, видел, как у деда шевелились губы, но голоса его не слышал. Прижимаясь к дрожавшей мачте, Андрейка глядел на бунтовавшие, с кипящими верхушками волны, которые без числа и без конца шли на их одинокую, заброшенную лодку. Она то совсем ложилась на бок, моча бившийся краем в воде парус, то выпрямлялась и взлетала на самый гребень. И тогда Андрейке в нескольких верстах открывался белый от прибоя берег, старая верба и белевшая на берегу хатка.

Андрейка не чувствовал особенного страха, он привык к бурям, и только внутреннее напряжение наполняло все его существо. Он так привык подчиняться и слепо верить на море деду, что не думал об опасности, хотя хлеставшие через борт волны все больше заполняли лодку, и она все тяжелее взбиралась вверх. Андрейка стал черпать и выливать за борт черпаком воду, но это мало помогало.

Старик сидел на корме, едва видимый в облаке водяной пыли и проносимой ветром пены, правя рулем, отдавая парус каждый раз, как налетающий шторм клал лодку на бок. Суровое, изрезанное морщинами, мокрое от брызг лицо старика было хмуро, сосредоточенно. Он сделал знак, и Андрейка, бросаемый из стороны в сторону качкой, на четвереньках, болтаясь в воде, перебираясь через кучи рыбы, полез на корму. Когда он добрался до кормы, старик нагнулся к его уху и крикнул:

- Кидай рыбу за борт!

Андрейка расширенными глазами глядел на старика, но старик ткнул его кулаком. Мальчик дрожащими руками стал выбрасывать еще живую, трепетавшую рыбу вон из лодки. Только теперь он понял всю грозившую им опасность, и детское отчаяние охватило его. Держась одной рукой за перекладину, он другой торопливо выбрасывал рыбу и горько плакал и причитал сквозь слезы:

— Ы-ы-ы... миленькие, потопаем!.. ы-ы-ы... потопаем
подайте помощи, пото-опаем!..

Но ветер сердито уносил его жалобу, и волны, разбиваясь о борт лодки, высоко вздымались белым столбом брызг.

Андрейка повыбрасывал всю рыбу... Лодка пошла легче... Берег все приближался... Уже можно было различить размытые глинистые обрывы, желтевший прибрежный песок и черневшие на берегу остовы старых лодок... Андрейка, продолжая вычерпывать воду, стал молиться. Он молился тому старику с седой бородой, что был изображен на потемневшей иконе в углу церкви, перед которой дед всегда ставил свечи. И Андрейка все ждал, что вот-вот их лодка станет легче, и волны перестанут плескаться через борт пенистые верхушки. Попрежнему с шумом шли водяные горы, летела пена, и низко неслись грязные тучи.

Шумя в оснастке и срывая гребни волн, набежал порыв бури, погнул парус, лодка бессильно легла на бок, и в нее всем бортом хлынула огромная волна.

Андрейка, с ног до головы окаченный волной, схватился обеими руками за мачту, захлебываясь от врывающейся в рот соленой воды. Старик, с проступившей по загорелому, обветренному лицу землистой бледностью и с прыгающей нижней челюстью, судорожно навалился грудью на поднявшийся борт. Лодка выпрямилась, но в ней до половины оказалось воды, и она с трудом теперь выбиралась на гребни набегавших волн, которые яростнее и чаще стали ее захлестывать. Андрейка каждую минуту ждал, что они пойдут ко дну. Неодолимый страх охватил его. Он на четвереньках, весь в воде, полез к деду:

— Де-еду, боюсь!..

Дед, все с таким же мокрым бледным лицом и прыгавшей челюстью, втащил Андрейку на свое место, сунул ему руль и конец шкота:

— На вербу... на вербу держи!

Старик крикнул это, что было голосу, но Андрейка из-за шума не разобрал его слов. Он только видел, как дед сбросил шапку и сапоги, торопливо перекрестился, вытянул руки, ринулся за борт, и облегченная лодка, с переполненным ветром парусом, пошла быстрее.

Кругом, как снег в степи в буран, белела несшаяся поверх моря пена, навстречу бежал берег, и все предметы на нем быстро увеличивались, выступая все отчетливее: размытые глинистые овраги, черневшие на песке лодки, белая хата и старая верба возле нее.

Андрейка был весь охвачен восторгом от сознания, что он опасен.

Зажав подмышкой руль, накрутив на руку туго тянувший шкот, он оглянулся: далеко-далеко, среди волн и пены мелькнула черневшая голова. Она то совсем скрывалась из глаз, то снова показывалась, подымаясь и опускаясь вместе с волнами. У Андрейки с представлением о деде соединялось представление о суровой, ни перед чем не поддающейся силе, и теперь вид этой беспомощно подымавшейся и опускавшейся вместе с волнами головы поразил его. Андрейка закричал пронзительным детским голосом:

— Де-едко!.. де-едко!.. де-едко!!

Глотая неудержимо катившиеся из глаз слезы и соленые бившие в лицо брызги, он изо всех сил навалился на руль. Лодка дрогнула, накренилась, с разбега круто повернулась, описав круг, и, как бы призадумавшись, стала против ветра. Парус ослабел и стал отчаянно болтаться и полоскаться. Андрейка, все так же неудержимо рыдая, положил руль совсем на борт: лодка повернулась еще больше, ветер мгновенно наполнил с другой стороны туго выпятившийся парус, лодка рванулась и, все больше и больше черпая бортами и с каждой секундой оседая, понеслась от берега назад в море, туда, откуда, толпясь, шумя и разбиваясь, грозно шли волны, и где беспомощно виднелась, то скрываясь, то опять показываясь, голова...

— Де-едко! де-едко!.. де-едко!..

МЕСТЬ

I

Было холодно. С серого зимнего неба попархивали снежинки, и резкий восточный ветер, ни на минуту не останавливаясь, упорно тянул по льду поземку, местами дымившуюся тонкой снежной пылью. Куда ни глянешь — везде пустынно, ровно, бело. Только позади темнели невысокие глинистые обрывы морского берега, размытые и неровные, слегка запорошенные теперь снегам.

В громадных розвальнях, заполненных сетями, веревками, топорами, шестами, «стрекачами» для пробивки льда, теплой одеждой, провизией, котлом для варки пищи, поленьями дров, привалившись к задку, дремал, укрытый теплым кожаным мехом и полстью, старик. Молодой парень сидел на передке, свесив из саней обутые в валенки ноги. Пара маштаков бежала ровно и споро, не останавливаясь, зная, что еще долго так придется бежать.

Парень не правил лошадьми, а, засунув под сиденье концы вожжей, привалившись к саням и глубоко засунув руки в рукава, задумчиво глядел под передок, как

под полозьями неустанно все в одну и ту же сторону бежал снег. Иногда он менял положение, выпрастывал руки, больше свешивал ноги и чертил ими по снегу или начинал разговаривать с лошадьми тем особенным тоном и голосом, которыми обыкновенно кучера в дороге разговаривают с своими лошадьми.

— Но, но, милаи, но резвый!.. Эй, ягнятки! много пробегли, немало осталось... Но, детки! Или вытаскивал из-под себя кнут и начинал хлестать ближайшего коня долго и настойчиво. Тот сначала отмахивался хвостом, как от надоедливой мухи, но потом, видя, что от него не отстают, точно желая сказать: «Эк его, привязался!» — неловко и неуклюже переваливаясь, пускался вскачь, прыгая всеми четырьмя ногами. Мужик, очень довольный, переставал хлестать, натягивая вожжи и запихивая опять кнут под себя, а конь, попрыгав еще раза два-три, с сознанием, что, наконец, удовлетворил каприз возницы, снова начинал бежать ровной рысью. Мужик опять приманивался в санях, подставляя ветру то спину, то бок. Ему нечего было делать, было холодно и скучно.

— Аж наскрозь тебя продувает... Удивительное дело... — говорил он сам с собой, глядя, как из-под лошадиных копыт, из-под полозьев саней дымил порошей морозный ветер и неустанно, без перерыва по всему пространству гнал сухой снег, неведомо куда и зачем.

Иногда Никита соскакивал и бежал рядом с санями, хлопая и махая накрест руками. Или, отставая, шел некоторое время шагом, потом пускался бегом догонять далеко ушедшие сани. Лошади же, видя, что возница

нагоняет их, и опасаясь, что он начнет их сейчас хлестать, подхватывали сани и неслись во всю рысь, так что Никита, что есть духу, должен был бежать за санями, пока, наконец, улучив минуту, изнемогая и запыхавшись, переваливался брюхом через прядку саней, красный от напряжения и ворча на лошадей: «Вот, идола, проманежили как!» — а на самом деле очень довольный, что кони сыграли с ним эту шутку.

Берег давно пропал, кругом курилась белая равнина. Казалось, это была степь, ровная и гладкая, по которой сплошь тянула поземка.

Но это было море.

И как бы в доказательство этого, нарушая унылое однообразие окружающей обстановки и состояние скуки и монотонности Никиты, потрясая воздухом, грянул громовой раскат и тяжело покотился к самому краю равнины.

Никита подобрал вожжи, лошади насторожили уши, спавший рыбак проснулся, выставил из-под полсти голову и стал осматриваться, щурясь от белого снега.

— Где? Впереди али сзади?

— Впереди, — проговорил Никита, привстав в санях на колени и всматриваясь вперед. Саженьях в пятидесяти среди снега темнела водная полоса, протянувшись до самого горизонта. Когда под'ехали, щель разошлась сажени на три. Никита слез, обошел лошадей, поправил дугу и проговорил:

— Што жа, рубить, видно, надо, куда об'езжать: сколько видно — пошла.

Из саней, приподняв полсть, вылез бородатый с проседью, широкоплечий, здоровый старик лет пятидесяти, прошел ко все расхोдившейся щели и внимательно осмотрелся кругом.

— Делать нечего, — сказал он, — придется рубить. Экая беда — время зря сколько пропадает!..

Они достали из саней топоры и «стрекачи» и стали вырубать во льду у самого края большую четырехугольную глыбу. Отделив ее от остальной массы льда, они вывели баграми на воду, поставили длинной стороной поперек щели так, что она концами уперлась в края матерого льда, и перевели по ней лошадей с санями, как по мосту.

Тронулись дальше. Никита уселся на облучок, а старик залез под полсть. Но не успели они проехать и полсотни сажений, как снова раздался гул лопнувшего почти под самыми ногами лошадей льда. Лошади испуганно шархнулись. Щель быстро расходилась.

Парень и старик торопливо соскочили, чтобы не дать ей совсем разойтись, надвинули сани, сколько возможно было, на лошадей, так что хомуты у них оказались на головах, гикнули и хлестнули коней. Лошади рванулись и совсем с санями перенеслись через угрожающе темневшую в расщелине воду.

Снова лошади бегут своей привычной побегой, покачиваясь крупами, в такт потряхивая головой и гривой. И Никита опять, свесив ноги, глядит на убегающий

мимо снег, на мелькающие лошадиные ноги, которые, выворачивая копыта, то-и-дело показывают ему отбе-

ленное железо подков, разговаривает с лошадьми и с ветром и согревается, бегом догоняя сани. Кругом все так же однообразно и скучно.

Старик лежит под полстью и прислушивается — не лопается ли опять лед. Его стало беспокоить, как бы не переменился ветер; тогда ведь в какие-нибудь три-четыре часа поломаст лед, и станет их носить по морю. Но зловещего гула больше не слышно, и лишь в садах шумит ветер да полозья повизгивают, скользя иногда по льду.

Старик немного успокоился и стал думать о том, о чем он всегда думал, когда ничем не был занят: о своем хозяйстве, о рыбе, о сетях, о том, что того-то надо прикупить, то-то переменить, что надо бы столь-ко-то пудов рыбы поймать, чтобы обернуться этот месяц, что не надо взгадывать — сколько поймаешь рыбы, потому что тогда ничего не поймаешь. Потом он стал высчитывать, сколько пришлось ему за красную рыбу и за судака. Судака он продал хорошо, а красную рыбу продешевил. И как только он вспомнил про это, у него засосало опять «у самой души», как он выражался.

Старик всячески берег деньги, и малейшая потеря его обыкновенно долго мучила. Единственный способ заработать был рыбный промысел, и потому все помыслы его сосредоточивались та нем. С самого детства, сколько он себя помнит, он ничем другим не занимался. Весь мир для него сосредоточивался на этом мутном, заплесневелом море с низкими глинистыми берегами. Все города, какие ни существуют на свете, он предста-

влял себе в виде Ейска, Ростова, Таганрога, Мариуполя, да и то в виде тех их частей, где помещался рыбный базар. «Рассею», о которой иногда приходилось говорить, он представлял себе в виде прикубанских, донских и приднепровских степей, которые со всех сторон надвинулись на Азовское море. В самом море он знал каждый уголок, каждую ложбинку, углубление. Во всякую погоду днем и ночью ходил в баркасе без компаса и приходил туда, куда нужно. Знал, когда и какая рыба ловится, где она держится косяками, и немилосердно истреблял ее крючьями и разными другими недозволенными снастями, приговаривая, что рыба — божий дар, и что хватит ее на всех, хотя последние годы все чаще и чаще стал жаловаться, что рыбы стало меньше и что год от году она все хуже ловится. Семья у него была большая: восемь душ, — из них пять сыновей, которые рыбачили вместе с ним. Пока дети были маленькие, семья испытывала страшную нужду, почти нищету. Обзавестись своим баркасом, своими снастями не было сил. Хозяин ходил на рыболовные заводы простым работником-поденщиком. Кое-как, однако, с величайшими усилиями удалось обзавестись своими снастями, но в первый же год сети вмерзли зимою в лед — и все пропало, и опять пришлось браться за поденщину. Так было несколько раз. Но когда дети подросли и стали помогать, семья окрепла: завели свои снасти, два баркаса и пару лошадей.

У старика была и своя хатка на берегу. Он облюбовал себе местечко на косе пустынного берега, наделал саманных кирпичей, наменял на рыбу черепицы и

поставил хату. Но через несколько лет к нему пред'явило иск о сносе хаты соседнее село, которому принадлежала береговая земля. Старик не признавал никаких судов, твердил, что это — бичевник, что у моря земля божья, что «государственное имущество» разрешило рыбакам селиться на берегу безданно, беспошлинно, чтоб они ловили христианскому народу на пропитание рыбу, и что без рыбаков все поделаются нехристями: будут жрать в посты говядину. Кончилось тем, что явился судебный пристав с полицией и рабочими и сравнял хату с землей. Упрямый старик отступил немного и поставил новую хату; с этой начиналась та же история.

Несмотря на свое скопидомство, он всегда первый являлся с помощью, как только у какого-нибудь рыбака случалось несчастье. Прибегут, скажут, что дядя Влас потонул или что затерло его льдами или унесло льдом в море, и он замерз, — и старик сейчас же нагружает кого-нибудь из сыновей мешком-другим рыбы и отправляется к семье погибшего. Но деньгами он никогда не помогал, а только натурой. И кажется, если бы перед ним помирили целые семьи от голода, он не дал бы ни полушки, а скорее бы отдал половину улова, — с деньгами он не мог расстаться.

Сыновей своих держал в строжайшем повиновении, не позволял им ни курить, ни пить. Себе в два-три месяца разрешал в виде отдыха «погулять», однако дома никогда не пил, а шел в город и там уже напивался до положения риз. И здесь он старался, если представлялась малейшая возможность, не истратить ни копейки,

а расплатиться натурой: входил в соглашение с содержанием гостиницы или трактира, который доставлял ему определенное количество водки, а старик взамен приволакивал ворох рыбы, и хотя стоимость рыбы во много раз превышала стоимость водки, и гораздо выгоднее было бы продавать рыбу и на вырученные деньги купить водки, — старик был в восторге, что погулял, не истратив ни копейки.

Перетерпел он на своем веку много: два раза тонул на захлестанном водой баркасе, и его носило по морю целые сутки; раз затерло льдами, и его едва успели спасти товарищи, а несколько лет назад унесло на льщу в море со всем — с лошадьми, санями и снастями. Лошади замерзли, сами затерло льдом, и они пошли ко дну, и остался он один среди льда; кругом шумело холодное море, а над головою низко висело серое зимнее небо. Его вынесло из таганрогского залива в самое море, пронесло мимо Бердянска, мимо Геническа,

но с берега не могли разобрать черную точку среди льда, и ниоткуда не было помощи. Он жевал куски голенищ своих сапог, глотал снег, но потом, когда увидел, что спасения нет, лег на лед и перестал бороться со смертью. Его сняли уже около Керчи, заочневшего, в бессознательном состоянии, и доставили в больницу. Здесь ему отрезали все пальцы на левой ноге и правое ухо. И, странно, с тех пор он иногда чувствовал, что чешутся пальцы на ноге, которых у него не было. Вот и теперь. Старик замечал, что это к перемене погоды, и с беспокойством отвернул полсть и огляделся кругом.

II

Лошади понуро стояли. Поземка все так же тянула, а недалеко одиноко торчали вбитые в лед колья, и маленькие флажки трепетали на их верхушках; они означали места, где были поставлены сети.

Старик и Никита достали топоры и проббили лунки, которые затянуло морозом. Стали выбирать сети, но там ничего не было. Старик хмурился, ворчал. Ему подозрительно было, что в сетях не оказалось ни одной рыбы. Соседи-рыбаки, возвращавшиеся с моря, говорили, что рыба хорошо идет. Опустили опять сети, сели в сани и тронулись дальше. Проехали версты две, впереди опять показались вбитые в лед колья и бившиеся на них по ветру привязанные лоскутки.

Старик велел остановиться Никите, а сам, внимательно осматриваясь кругом, пошел к лункам. Тут он опустился возле них на колени и стал шарить голой рукой по снегу и по краям лунки, потом поднялся и кликнул Никиту. Тот торопливо подбежал.

— Что, али б ы л? — проговорил он.

— Был и недавно — лунки только что успело затянуть, ледок-то совсем еще тонкий.

— Следов не видать?

— Следов и не будет видать—вишь, поземка тянет, все заметет, и время такое выбирает. Теперича засыпем сети, к крайним вдаримся — може, там накроем его.

И старик и Никита торопливо вытаскивали из саней привезенные сети, топоры, секачи и стали рубить

во льду новые лунки. Они работали напряженно, и целые тучи ледяных брызг летели из-под топоров, обдавая их лица и платья. Наконец, у Никиты топор со всей рукоятью ушел в лед, и оттуда фонтаном ударила вода, разливаясь по льду.

Вырубили по прямой линии на расстоянии двух саженой одна от другой еще десять лунок. Оставалось «засыпать» сети — самое тяжелое и неприятное дело.

Никита привязал к концу длинного шеста веревку, которая шла от сложенной на льду сети, погрузил шест в лунку и стал в воде голыми руками направлять его так, чтобы он подо льдом прошел как раз ко второй лунке.

В холодной ледяной воде руки разом заоченели — ветер нестерпимо жег их морозом. Было так холодно, что Никита делал над собой страшные усилия, чтобы выдержать и не бросить все. Старик крючком ловил во второй лунке просовываемый подо льдом шест, и когда он, наконец, зацепил его и придержал, Никита мог немного отогреть руки. Он вскочил, торопливо вытер их о кожух и яростно, что было силы, стал махать ими накрест, хлопая себя в бока и плечи.

А над снежной равниной быстро вечерело. Небо стало чистое, и на нем показалась луна, круглая и белая. Угасающий дневной свет не давал ей светить, В сумерки эта два человека, лошади и сани казались еще более одинокими, затерянными среди безлюдной пустынной равнины, над которой все так же проносился морозный ветер.

Никита не согрел рук, но они хоть немного ото-шли; невыносимо кололо в пальцы. Опять надо было снимать рукавицы и лезть голыми руками в ледяную воду. И Никита, усиливаясь удержать дрожь и не попадая зуб на зуб, снова стал возиться с шестом в воде, прогоняя его подо льдом через все лунки, в которых ловил его крючком старик. Наконец, шест прошел к последней лунке, откуда его и вытащили. Никита перебежал к этой лунке и стал быстро выбирать из нее веревку, которая за собой протянула шест. Вода бежала с бечевы, затекала Никите за рукава и намерзала там на рубахе и на овчине тулупа. Старик у первой крайней лунки спускал в воду аккуратно сложенную на льду сеть, расправляя ее и вытягивая.

Но вот у Никиты бечева кончилась, и из-под льда показалась сеть, которая протянулась саженой на тридцать. Никита перестал выбирать и закрепил конец к наскоро вбитому в лед колу. Потом они со стариком снова схватили топоры и на другом месте стали отчаянно, чтобы согреться, рубить новые лунки. После этого Никита снова принялся болтаться в воде голыми руками, пропихивал шест и с отчаянием смотрел, как старик, срываясь и не попадая, вылавливал его из другой лунки. Он уже не чувствовал кистей рук, а сведенные судорогой пальцы не разгибались. Он все чаще и чаще принимался отогревать руки, махать и хлопать ими о полы тулупа, но, как только принимался за работу, мороз, становившийся к ночи злее, беспощадно леденил его до костей; мучения холода становились невыносимы. Так они проработали несколько часов.

Уже давно сумерки сменились морозной ночью. Луна поднялась высоко и необыкновенно ярко озаряла теперь всю равнину искристым морозным сиянием. В снегах играли синие огоньки. Белая подвижная пелена колебалась по всей равнине. Лошади прозябли и выражали нетерпение, переступая с ноги на ногу, и иногда слегка ржали, повернув голову к хозяевам.

Покончив работу и поставив шесть новых сетей, рыбаки убрали топоры и бечевы в сани и тронулись. Прозябшие лошади пошли во всю рысь. На этот раз старик стал править ими, а Никита залез под полсть, но он и там не мог согреться. Его трясло, зубы неудержимо стучали, — казалось, холод проник внутрь его, в нем дрожал каждый мускул, и, тщетно напрягаясь, он старался подавить эту дрожь.

— Али зазяб?—проговорил старик.

— Ззяб.

— Бежи.

Никита вылез из саней и пустился за ними бегом. Он утомился от работы, а прозябшие лошади быстро уносили сани, и он делал усилие, чтобы не отстать, спотыкался, увязал в сугробах, но все-таки бежал. И только когда почувствовал, что совсем стал изнемогать и что от усталости и мороза стало перехватывать дыхание, он с усилием нагнал сани, ввалился в них и снова залез под полсть. Приятная, живительная теплота стала разливаться по всем его членам.

Старик помахивал на лошадей и зорко всматривался в искрившуюся, залитую лунным сиянием снежную даль. Везде было пусто, но он почему-то все ждал,

что вот-вот что-то зачернеет, покажется вдали. Но морозная даль была обманчива: темная черта горизонта порой казалась у самой дуги лошади, и там мерещилось что-то, но сейчас же отодвигалась куда-то очень далеко, и до самого края белела тянувшая поземка. Проехали несколько верст. Лошади согрелись и пошли тише. Старик перестал всматриваться вдаль и задумчиво подгонял лошадей. Поправляясь на облучке, он случайно поднял голову и... остолбенел: саженьях в ста вправо стояла лошадь, запряженная в сани, и недалеко человек копался и что-то делал во льду; он, видимо, не замечал под'езжавших, увлеченный своей работой.

— Никита! — проговорил старик сдавленным, хриплым шопотом.

Тот высунул из-под полсти голову.

— Гляди, он!

Никита выскочил из-под полсти, как ужаленный.

— Тише!.. — И старик, собрав вожжи, вдруг неистово погнал коней во всю лошадиную мочь. Они понеслись во весь карьер к человеку, который что-то делал во льду.

III

Когда Петро Дранько возвратился из солдат, надо было приниматься за устройство своего хозяйства. Отец его умер, жена с ребятишками ходила на работу из-за хлеба, и у Петра, кроме трудовых рук, ничего не было. Он тоже пошел в работники, а летом ходил на рыбные заводы.

Но под конец надоела ему такая жизнь, и он задумал обзавестись собственным хозяйством. Два года работали они с женой на чужих людей, как воле, а летом Петру посчастливилось: тянул из части тюню, вышел богатейший улов, и на его долю пришлась хорошая добыча. Сколотили так несколько десятков рублей, купил он себе старенький баркас, сетей и стал в море рыбачить. Семья кое-как перебивалась. Дело бы, вероятно, и совсем наладилось, если бы Петро успел окрепнуть, стать на ноги. Но в первые же зимние месяцы случилось несчастье: вмерзли его сети. Когда внезапно усиливаются морозы, лед утолщается, и в него снизу вмерзают сети, отодрать которые уже нет возможности. Этот риск неизбежно несет всякий рыбак, но у Петра не было запасных денег и сетей, а в море у него пропало снастей рублей на пятьдесят, и он был разорен. Опять предстояла поденщина, опять нужно было слоняться по чужим дворам.

Когда Петро, убитый, возвращаясь по льду домой после осмотра своих пропавших снастей, кругом было пусто, и морозный восточный ветер заметал следы саней и лошади, которую он нанимал у своего соседа. Вдруг лошадь неожиданно провалилась передними ногами в лунку, затянутую тонким ледком и заметенную снегом. Петро встал, выпростал лошадь и стал осматривать — не оборвала ли она чужой сети. Он потянул за веревку — сеть пошла из-под льда, но оказалась целой, и в ней, там и сям, блеснула чешуей рыба. Вид этой добычи разом разбудил в Петре рыбака-охотника. Он забыл все окружающее и торопливо стал выбирать

из сети рыбу. Рыбы было много, и он набросал на льду целую кучу. И только когда опростал всю сеть, он с испугом оглянулся. Кругом попрежнему никого не было. Тогда он бросился к другим сетям, которые тоже оказались битком набитыми рыбой; тут, по всей вероятности, прошел косяк. И он трясущимися руками накидал рыбы полные сани, но ее было так много, что он не мог поместить всю и остаток опять побросал под лед и затем уехал. Мороз затянул лунки, а ветер замел и заровнял снегом его следы. Никто не узнал об этом посещении.

Петро продал рыбу и не только возместил свои убытки, но у него остались еще свободные деньги. Он решил опять честно рыбачить и не заглядывать в чужие сети. Но в первый же свой выезд не мог утерпеть и снова набрал из чужих сетей рыбы.

Жизнь Петра изменилась; ему стало легче и веселей жить — стал он захаживать в гостиницы, в трактиры. Постоянное присутствие денег и уверенность, что они и завтра и послезавтра будут, тянули к доступным удовольствиям и наслаждениям. Жена Петра, привыкшая к вечной нужде и работе женщина, сначала не понимала, откуда это у них постоянно деньги и почему так удачливо Петро возвращается с моря, но потом постепенно тоже вошла во вкус легкой и свободной жизни, и у них началось разливанное море: гости, гульбища, попойки.

Петро сделался форменным мародером, «ледяным ворм». Это было опасное ремесло. Рыбаки добывали себе хлеб у моря суровым трудом. Когда они уезжали зи-

мою по Льду, никто не был уверен, что они вернутся не с отмороженными руками и ногами или — что навеки не останутся посреди моря. Никто из них не был уверен, что завтра же он не потеряет все свои снасти, инструменты, лошадь, сани — все, что необходимо для промысла, и не превратится из домовитого хозяина в нищего; смерть, увечье и разорение постоянно глядели им в глаза. Поэтому-то они с такой страшной ненавистью относились к ворам чужого улова, которые без всякого риска забирали себе хлеб, добытый тяжкими усилиями. Рыбаки расправлялись с ними подчас так же, как крестьяне расправляются с конокрадами, но это — при том условии, если вора накрыли на месте преступления.

Петра давно подозревали, что он обирает плоды чужих трудов, но с поличным поймать не могли: он сделался необыкновенно наглым и смелым вором. Чтобы отвести глаза соседям и другим рыбакам, он держал сани, лошадь и все необходимое для рыболовства и ставил в разных местах сети, сам же следил за тем, где кто ставит сети, и исправно обирал их перед приездом хозяев, причем забирал не все, а часть улова оставлял, чтобы не возбуждать подозрений. Он так освоился с своим ремеслом, что работал уже совершенно хладнокровно.

И сегодня он об'ехал целый ряд сетей и сейчас трудился над последними. Возле лунки лежала большая куча рыбы. Он так был увлечен своей работой, что не слышал, как к нему во весь опор мчались на паре два рыбака, и только тогда, когда удары кованых копыт

раздались совсем возле, Петро, точно над ним гром раз-
разился, вскочил и, что было мочи, кинулся к своим са-
ням. Но было уже поздно. Никита кинулся на него и со
всего размаху ударил в висок. Петро покачнулся, свет
перевернулся у него в глазах, но он сейчас же оправился, и
они сцепились, как два зверя, и, разом поскользнувшись,
тяжело грохнулись на лед.

— Н-нет... не да-амся... не ддамся!.. —хрипел Петро,
катаясь с Никитой по льду и делая нечеловеческие усилия
сломить парня; он знал, что пощады ему не будет. «Только
бы до саней, только бы до саней добратся!»— мелькало у
него в страшном напряжении борьбы.

Никита, как молодой борзой, вцепившись в кабана, все
позабыл в мире и, задыхаясь, бессмысленно твердил:

— Я те да-ам... я те дам по чужим сетям лазить!.. Я те
дам!..

Они катались по льду клубком, сгребая снег и болтая
по гладкой поверхности ногами. Старик с искаженным
лицом бегал за ними, стараясь ударить колом вора, но,
опасаясь задеть сына, отбросил кол и навалился на врага.
Он вцепился ему в горло.

— А-а, мучитель, попался-таки, разоритель, губитель
ты наш, враг рода человеческого!.. Напился ты нашей крови,
будя тебе измываться. Не станешь теперь труды наши
честные обирать. Погулял на наши кровные денежки, на
наши мороженные ноги, калеченные увечья!.. Будя!..

Старику все припомнилось: вся его долгая жизнь,
почти все время давившая бедность, его тяжелые труды,

все беды, какие с ним когда-либо случались, и то, что у него нет правого уха и что на левой ноге отрезаны пальцы. Все это теперь ставилось на счет этому отчаянно боровшемуся человеку и давило старика чисто животной злобой, от которой он задыхался.

Петро, у которого перехватило горло, разом обессилел, глаза у него выкатились. Никита быстро поднялся, притянул веревку, привязанную к сети, и мертвой петлей захлестнул вора подмышками.

Старик отвалился от своей жертвы, как напившийся паук, бросился вместе с Никитой к крайней лунке, и они стали торопливо вытравлять оттуда мокрую, быстро твердевшую на морозе веревку.

Петро приподнялся на руки, огляделся кругом как будто ничего не понимающим, удивленным взглядом: что это? где это он и что с ним хотят делать? Чувство облегчения, что его, по крайней мере, не задушат сейчас — овладело им. Он не думал уже о сопротивлении и, хотя его никто не держал, не пытался развязать затянутый подмышками смерзшийся узел. Кругом все так же белела снежная пелена, так же неподвижно стояла в санях лошадь, так же искрилось морозное сияние над пустынным ледяным простором. Но когда его взгляд упал на извивающуюся, черневшую по снегу веревку, которая, перегнувшись, спускалась в нескольких шагах в лунку, и он увидел, как торопливо выбирали два человека с напряженными лицами из дальней лунки противоположный конец веревки — ужас и отчаяние охватило его. Он вдруг упал перед ними на колени и стал, как на исповеди, бить земные поклоны.

— Отпустите... отпустите... братцы... Сироты... по миру... пойдут... Братцы... не с радости на это дело пошел... есть надо... семеро ребят... Братцы, лошадь, сани — все ваше... коровенка дома, деньги, какие есть — все отдам: не губите христианской души... Братцы, какая вам корысть с того, что загубите... отпустите... век буду молитвенник ваш... Пропадет семья, некому выкормить... Пожалейте...

Он кланялся, не поднимаясь с колен, стучаясь в холодный лед, без шапки, с разорванным донизу воротам, с окровавленным лицом. Правое ухо у него совершенно побелело, но он ничего не замечал и все быстрее и быстрее бил земные поклоны.

А те из всех сил выбирали веревку голыми, скрюченными, начинавшими уже коченеть, неслушавшимися руками, из-под которых бежала намерзавшая на рукавах вода. Вдруг они с напряжением уперлись и стали тащить вершку изо всех сил.

И в ту же секунду Петро пошатнулся, веревка, обхватывавшая его и свободно лежавшая на снегу, вытянулась, как струна, и медленно потащила его к лунке. Он закричал так, как животное, которое ударили ножом в горло, но неловко, и оно, захлебываясь, напрягает все силы в безнадежной борьбе со смертью. Несчастный опрокинулся, цепляясь за малейшие неровности, хватаясь зубами за лед, вонзая в него ногти, из-под которых брызнула кровь, но... все напрасно! — до лунки оставалось только три шага... два... потом один...

— Каррау-уул... ратуйте! топят... каррау-ул!.. ра-туйте, кто в бога верует! Погибаю!..

Но кругом было пусто, и, покрывая этот белевший простор, покрывая готовящееся совершиться преступление, неподвижно и безучастно стояла безмолвная морозная месячная ночь.

Возле выступила лунка с намерзшими краями, через которые, перегибаясь, скользила веревка. В глубине ее чернела вода.

— Так будьте же вы трижды прокляты, анафемы, жадные звери — жрите человечесю кровь... Чтоб вас покарал господь, чтобы у вас отнялись ноги, чтоб вам не видать детей!.. нате! жрите человечину... Помните мое предсмертное слово, правда откроется, быть вам обоим на катор...

Он не договорил, неуклюже перевернулся, протиснулся в узкую ледяную дыру, и вода с глухим шумом расступилась... Затем все стихло. Надо льдом остались только два человека. Они из всех сил тащили из противоположной лунки веревку.

Сначала веревка шла свободно и легко, потом в ней стали слышны толчки, что-то шло подо льдом, задевая за него и цепляясь за нижние края лунок, потом стало тяжело тащить, как будто сеть захватила много рыбы или зацепила бревно. В лунке что-то забурлило, зачернелось, вода расступилась, и оттуда показалась голова, затем плечи и туловище человека, с которого струилась вода. Лицо побагровело и вздулось, но он был еще жив и медленно перевел глаза на вытащивших его людей.

Рыбаки бросились опять к противоположной лунке, схватили конец, прикрепленный к колу, и стали выби-

рать веревку из лунки. И начинавший уже обмерзать человек вдруг шевельнулся, протиснулся опять назад в лунку и опять ушел под лед, а когда он появился в первой лунке, его протащили подо льдом еще раз и вытащили наконец на поверхность. Он покрылся льдом, как панцирем. Голова, волосы, ресницы, неподвижно открытые глаза, борода, платье — все блестело при лунном свете.

Рыбаки подняли, поставили и подержали его с минутой; сбегавшая вода все больше и больше намерзала у ног, образуя пьедестал. В заочневшие руки своей жертвы они сунули длинный костыль, на который этот мерзлый человек опирался, потом бросились в сани и погнали лошадей, не тронув рыбы и оставив на произвол судьбы свои сети. Лошади пошли ходкой рысью, отбивая по льду коваными копытами.

Старик и Никита не чувствовали угрызения совести, но испытывали то состояние, которое, вероятно, испытывают присяжные, когда осудят на долгую каторгу отца большого семейства, который стоит перед ними бледный, худой, истомленный и теперь, в сущности, жалкий и безвредный человек. Осудить его нужно — за ним вопиет преступление, но кто же прокормит его галчат, которые хотят есть?..

Через минуту сани затерялись среди снежного простора.

IV

Долго стоял Гнедко, понуро опустив шею, прижав уши. Он весь заиндевел, точно поседел, и шерсть на нем

сделалась пушистой и белой, а у ноздрей и губ намерзли сосульки. Ветер становился злей, пробирал до костей морозом и набивал возле ног бугры снега. Гнедко стал дрожать. Он уже раза два поворачивал свою заиндепевшую голову и глядел из-за дуги на хозяина; он давно ждал, что тот вот-вот подойдет к задку саней, пороется там, вытащит охапку сена, прикрикнет на него, когда он станет тянуться за сеном, и бросит ему под морду. Но хозяин, высокий и неподвижный, стоял не шевелясь на одном и том же месте, задумчиво опираясь на длинный костыль. Гнедко слегка заржал, давая знать, что он голоден и продрог.

Поведение его хозяина сегодня было в высшей степени странно. Что это — хозяин, Гнедко был уверен: когда уезжали на серой паре в санях два человека, он хорошо заметил, что между ними хозяина не было.

Гнедко постоял еще несколько времени, потом положил оба уха назад, тронул сани и тихонько пошел. Он ожидал, что раздастся обычный окрик: «Куда, дьявол, прешь!» — и потому, пройдя шагов десять, остановился и подождал. Но попрежнему кругом было пустынно к безлюдно, попрежнему сплошь тянула по льду поземка, было холодно, в санях шумел ветер, и высокая темная фигура стояла не шевелясь.

Тогда Гнедко окончательно решил и потихоньку мерным шагом отправился домой, везя за собой сани, то прижимая, то навастривая правое ухо, точно соображая дорогу.

V

Месяц, стоявший посредине неба, стал склоняться к краю льда и уже не так ярко светил над снежной равниной. Вода в лунках затянулась льдом, и его занесло снегом. Занесло снегом и кучу мерзлой рыбы, и место борьбы людей, и следы от полозьев. В морозном воздухе носились снежные кристаллы, играя в месячном свете, а низом над всей равниной шевелилась все та же белая легкая снежная пелена, гонимая студеным ветром пороши. Месяц совсем закатился, ледяная равнина потемнела.

Один за другим проходили серые зимние дни и морозные светлые ночи. Проезжавшие случайно рыбаки с удивлением под'езжали к странному человеку, одиноко и неподвижно стоявшему посреди замерзшего моря, но когда они подходили к нему, то с ужасом замечали, что неподвижно открытые глаза его побелели, и в лунные ночи весь он отсвечивал льдом, и они поспешно от'езжали от этого ужасного места.

«Мародеры» тоже натыкались на место казни, гнали прочь лошадей и, когда отсюда ехали обворовывать чужие сети, вели уже себя в высшей степени осторожно.

Проходили дни, недели. Ветер переменился, море взломало, и громадные ледяные глыбы, с шумом и треском напирая друг на друга, носились из конца в конец расхолившегося моря. По странной случайности, то место, где стоял темный призрак, откололось одной громадной глыбой, которая носилась везде, и когда ее прибывало к берегу, где образовался затор, прибреж-

ные жители со страхом глядели на неподвижно стоявшего день и ночь замерзшего человека. Подойти к нему нельзя было — крутом был мелкий лед. Наконец, в одну глухую ночь буря искрошила весь лед, и ледяное привидение исчезло навсегда.

В КАМЫШАХ

I

В небольшой комнатке с окном, из которого открывалась река, поблескивавшая на полуденном солнце, и далекий луг с мочежинами, озерами, стоял перед заседателем широкоплечий с загорелым обветренным лицом и шапкой спутанных волос казак. Он стоял, недоумевающе собрав над переносицей брови и с таким видом, как будто хотел сказать: «что ж, подождем, подождать — подождем, ну только нас это не касается». Заседатель в потертом мундире, с потертым лицом и как будто потертой, начавшей лысеть головой, наклонившись, что-то писал, торопливо бегая пером по бумаге.

— Иван Архипов Сидоркин? — заученно говорил заседатель, не подымая головы и продолжая писать.

— Так точно.

— Под судом и следствием был?

— Так точно, но только оправдан, — так же заученно отвечал Сидоркин.

— Ну, так рассказывай, как дело было, как вас накрыли, — проговорил заседатель, отодвигая бумаги и откидываясь на спинку стула; вся его фигура, помятое

и теперь нахмуренное лицо и сквозившая сквозь редкие волосы лысина — выражали полную непоколебимую уверенность, что Сидоркин сейчас же все чистосердечно, подробно, ничего не тая, расскажет, так как все это он, заседатель, уже знает во всех подробностях.

Но у Сидоркина вместо этого еще больше собрались над переносицей и полезли на лоб вылинявшие, обветрившиеся брови.

— Не можем знать, то есть, насчет чего это?

— Ты мне дурака не ломай, со мной не шутики шутить, — со мной, брат, шутики плохие.

— Помилуйте, вашскблагородие, какие шутики, разве возможно шутики с вашим вашскблагородием, как можно.

— Ну, ну, ну, будет разговаривать!

— Слушаю.

И Сидоркин опять сделал наивное лицо и, глупо раскрыв глаза и высоко собрав брови, глядел на заседателя не мигая.

— Где проводил время в ночь с пятнадцатого на шестнадцатое?

— Обнаковенно, с женой спал.

— Врешь, на лимане был и в запретных местах сети тянул.

— Никак нет, вашскблагородие.

— В рыболовную команду стрелял.

— Вашскблагородие, господь с вами, как возможно!..

И брови в знак изумления и негодования полезли еще выше.

Началась та особенная борьба допрашивающего и допрашиваемого, которая очень похожа на борьбу сильного, матерого зверя с опытным неумолимым охотником. Охотник делает круги, обходит, ползет на брюхе, прячется на опушке, задерживая дыхание, приглядываясь к малейшему следу, малейшему отпечатку, но старый, опытный зверь не дает себя обмануть: проходят часы, а расстояние между ними все то же. Заседатель делал внезапные, неожиданные вопросы, останавливался на, повидимому, ничтожных, не имеющих никакого значения, подробностях, но каждый раз встречал все ту же стену глуповатого простодушия, наивности и высоко собранные над переносицей брови.

Заседатель устал, вытер вспотевшее лицо и лысину, велел подать себе квасу и, расстегнув рубашку, из-за которой тянула лохматая грудь, стал пить пенящийся, подымавшийся из стакана напиток.

«Зверь», чувствуя, что острое напряжение у охотника прошло и он утомлен, спокойно стоял, все так же держа руки по швам. Выражение простоватости, наивности сбегало с его лица, брови опустились и разгладились над глубоко сидевшими серыми глазами, спокойно, уверенно и с достоинством глядевшими теперь на чиновника, и выражение его загорелого, обветренного лица и вся его широкоплечая, сильная, с выпуклой грудью, богатырской мускулатурой фигура как бы говорили: «Ну, стало быть, кончено, и теперь можно пообыкновенному ».

Заседатель, выпив квасу и слегка отрыгнув, тоже, видимо, почувствовал, что официальная часть кончена,

что все, что можно было сделать, он сделал и, отодвинув бумаги, откинувшись немного на стул и слегка отдуваясь, проговорил:

— Эх, Сидоркин, а ведь и жалко мне тебя, — не сносить тебе головы, пропадешь не за понюх табаку. Вот теперь я тебя арестую, там следствие пойдет,— докопаются ведь, брат, до всего: пойдешь с тузом, куда телят Макар не гоняет. Жил бы себе в станице, занимался бы хозяйством, у всех в уважении и — острога бы не нюхал.

— Вашкблагородие, засадить вы меня в тюрьму завсегда можете, — ваша воля, потому как вы поставлены над нами начальниками, ну только не причинен я, потому, собственно, безвинно страдаю. Кабы я душегуб был али разбойник, али вор, али чужое брал, а то ведь волосинки чужой на моей совести нет.

— Да ведь ты закон нарушаешь!

— Что ж закон! Поставьте часовых по берегу не позволять народу пить воду, — тоже закон; пушай вседохнут — и скотина.

— Эка дурья голова! То вода, а то рыба.

— Все едино, вашкблагородие. Потому, вашкблагородие, как, собственно, рыба в воде, никто не сеет, не пасет, и плодится-размножается она не от человека, а от бога, то божий дар, значит, и всякий злак на потребу человека, и по тому самому нас хватают, тиранят, разоряют, в острог сажают. Теперича, вашкблагородие, хорошо, выходит так, что я должен людей резать, потому у меня окончательно пропитание всякое отымают... А зачем мне резать людей, — мне, вашск-

благородие, только одно пропитание нужно, чтобы, значит, честным трудом.

Заседатель не в первый раз подымая принципиальные разговоры с хищниками-рыболовами. Дело в том, что хищники, действительно, не были ни ворами, ни грабителями, — это был обыкновенный трудящийся люд, и у заседателя каждый раз подымалось странное желание показать и доказать этим людям, что у него не только физическая возможность взять их, арестовать, но и правда, и правда на его стороне, и каждый раз разговоры эти под конец его только раздражали. Так и теперь.

— Кабы ты поумнее был, — с сердцем заговорил он, — а то разве вобьешь в твою еловую башку. Рыба-то тебе одному, что ли, нужна? Это — достояние всего государства, а ее все год от году меньше да меньше становится: совсем изведете.

— Вашкблагородие, у нас в станице по шестнадцати десятин на пай земли приходилось, а теперича народонаселение размножилось — по восьми не хватает, скотину некуда выгнать, нечего пахать, бахчу негде посеять, иначе не слышать, чтобы поэтому самому запрещение на землю вышло.

Заседатель в первый момент не нашелся что ответить и рассердился.

— Ну, будет, заладила сорока про Якова, — и заседатель опять облекся в официальную неприступность, а у казака снова полезли брови на переносицу, лицо поглупело, и опять вся фигура как бы говорила: «Ну, что ж, опять, значит, — можно опять».

— Конвойные!

Вошли конвойные с шашками и ружьями.

— Возьми препроводительскую бумагу, сдашь в N-ский острог. Распишись в приеме.

Старший конвойный осторожно шагнул к столу, взял перо и, нагнувшись, стал водить им, перекосив на сторону глаза, рот, ловя языком ус, цепляя и разбрызгивая пером по бумаге. Он с усилием вывел: Л е к с е й П о н о м а р е в и, положив на место перо, отер выступивший каплями на лице пот. Потом взял к плечу ружье, повернулся, со стукам молодецкато приставив каблук к каблуку, и пошел к двери. Сидоркин двинулся за ним, а позади второй конвойный.

Выйдя за дверь, Сидоркин надел шапку и пошел, мерно в шаг с конвойными мотая руками.

Было жарко. Полдненное солнце жгло пыльную дорогу. Верхушки курганов и линия горизонта дрожали в струившемся воздухе. Река все так же ослепительно ярко и знойно шевелилась сверкающей рябью. Под горой желтело железнодорожное полотно, и, сверкая на солнце, бесконечно бежали рельсы.

II

Сидоркин спокойно шел за конвойными, пыля сапогами. От времени до времени он взглядывал на далекий луг, на синевшие вдали невысокие горы, на реку. Но он не думал о том, что это было красиво, широко, ярко и весело. Это были просто знакомые до последнего овражка, до последней выбоины и луг и река, где он

озлобленно боролся с людьми, непонятно для него не дававшими ему возможности кормиться у реки.

По мере того как охрана рыбных богатств становилась строже и строже, эта борьба делалась ожесточеннее и беспощаднее. Чины рыболовной полиции и рыбаки видели друг в друге не охранителей и нарушителей закона, а своих личных злейших врагов, жестоких и неуловимых, по отношению к которым все допускалось.

В борьбе с рыболовной полицией выработалась целая система. В запрещенное для лова рыбы время, именно весною, когда рыба шла вверх метать икру, берега реки как бы оказывались на военном положении. На различных пунктах стояли часовые, зорко наблюдавшие за рекой. Как только вдали показывался катер рыболовной полиции, по берегу скакали конные, извещавшие рыбаков о появлении врага, — и река на несколько верст впереди катера очищалась от рыбацких лодок, которые вытаскивались на берег, а сети прятались в укромные места. Для переговоров на расстоянии употребляли флаги и другие оптические сигналы; ночью жгли солому на высоких шестах и стреляли из ружей.

С наступлением разрешения лова положение мало менялось. Чтобы оградить от окончательного истребления рыбу, которую беспощадно преследовали в реке, в море крючьями, сетями, неводами, приволоками и другими истребительными снарядами, взморье и устье разбившейся на множество рукавов реки было объявлено заповедным: там безусловно и навсегда воспрещался лов рыбы. И рыба, повсюду гонимая, преследуе-

мая, истребляемая, ни днем, ни ночью не находя себе места, огромными стадами устремлялась в заповедные места — единственный уголок, где она могла укрыться от жестоких преследователей. Камыши заповедных вод буквально кишели рыбой. Вот сюда-то и рвались рыбалки, и здесь-то и происходили ожесточенные столкновения с полицией.

Эта жизнь, полная тревог, неожиданностей, опасности, неуверенности в завтрашнем дне, постоянно меняющаяся перспектива то богатства, то нищеты налагали неизгладимый отпечаток на рыбацкое население. Их хаты стояли, как попало, на берегу — без огорожи, без ворот, без хозяйственных пристроек. Бабы не пекли хлеба, не водили птицы, — все бралось с базара. Вся обстановка носила какой-то временный характер, точно это раскинулся лагерь. Все, кто терпел неудачу, разорялся на хозяйстве, — шли сюда. Эти люди питали странное отвращение к городским профессиям и обнаруживали неумение приспособляться к городской обстановке. Они крепко держались за рыбацкий промысел, как за последнее средство честным путем добывать хлеб.

Иван Сидоркин был тоже когда-то хозяином, но год за годом по частям уменьшалось его хозяйство, и когда он явился на берег, у него, кроме жены и детей, ничего не было. Иван среди рыбаков пользовался авторитетом за свою смелость и умение провести полицию.

Он шел по дороге, все так же подымая тяжелыми сапогами горячую пыль, сосредоточенно взвешивая шансы своего оправдания. Вдали из-за высоких стен показалось иссера-желтоватое здание острога.

В остроге Сидоркину пришлось пробыть полтора месяца, пока тянулось следствие. Прямых улик против него следователь не мог собрать, и Сидоркин, осунувшийся и похудевший, был выпущен на свободу. Как только он вышел из тюрьмы, на другую же ночь отправился с товарищами на ловлю в запрещенные воды.

III

По темной воде чуть-чуть выделялся камыш; он стоял черной стеной, сливаясь с черной тьмой окружающей ночи. Ночь была тихая, безмолвная, неподвижная. Чудилось, что кто-то шуршал в камыше, и шевелились в темноте метелки. Вверху также было черно, неподвижно и тихо.

Нельзя было разобрать, что подвигалось вдоль томной стены камыша. Казалась, это плыло черное неуклюжее бревно, и только по правильности его манипуляций и поворотов можно было догадаться, что это лодка. Весла осторожно и беззвучно опускались и подымались из воды, и лишь звук капель, падавших с них в воду, выдавал движение. Но вот и капли перестали падать, перестал шуршать камыш, и метелки больше не кланялись и не шевелились в темноте. Эта безразличная, бесформенная, стоявшая везде тьма, казалось, вся была наполнена ожиданием чутким, напряженным и осторожным.

Кругом было тихо.

Над лодкой вдруг загорелся синий огонек, озарив на мгновение мокрые низкие борты, сети, пять дюжих фигур, камыш с неподвижно похилившимися метел-

ками, и, отразившись в темной воде, потух. Нельзя было определить, далеко или близко вспыхнул в темноте такой же крохотный синий огонек, вспыхнул, подержался с секунду, упал в воду — и погас.

— Ну, ребята, с богом, трогай! — раздался в лодке громкий, свободный, несдерживающийся голос, разом нарушая эту тишину, неподвижность, молчание и таинственность, — стало быть, никого нет.

И точно обрадованный, что разрешилась наконец эта напряженность, набежал ночной ветерок, погнул камыши, и они повели свой странный разговор, залепетали, зашелестели и закивали в темноте метелками. Весла сильно и шумно взбудоражили воду, лодка закачалась, дернулась вперед, быстро пошла уже по открытому плёсу, и в борта торопливо и весело заплескалась мелкая встречная волна.

— Говорил вам — ноне его не будет: в город уехал. Хорь надысь еще сказывал — сбирается ехать, — проговорил один из рыбаков, бережно пряча в карман коробку с бенгальскими сигнальными спичками.

— Не верь, не верь, ребята, — раздался глухой голос с кормы, — не верь е м у, ребята, — рази не знаешь хитрого дьявола: распустит вести, что, дескать, еду, — все уши развесят, а о н стоит где-нибудь тут же в камышах и, того и гляди, накроет.

— Хорь не станет брехать, верный человек: надысь я ему икры отнес и трешку.

— Верный, верный!.. А ты гомони во всю глотку, штоб по всея лиману слышать было, на свою голову, —

послышался все тот же недовольный, озлобленный глухой голос.

Все молча стали работать, и весла мерно и сильно гнали лодку вперед.

Ночь стояла все такая же молчаливая, неподвижная, скрывая все, что было вокруг, — и водный простор, и необозримое царство камышей, и далекий берег, и вверху небо, обложенное темными тучами. Куда ни обращался взор, он упирался в ровную, одинаковую, неизменяющуюся темноту. Нельзя было сказать, шла ли лодка от берега или к берегу, куда тянулся лиман и где было море. Но, очевидно, те, что сидели в лодке, знали, куда они идут, и умели ориентироваться среди этой все нивелировавшей ночной тьмы.

Пройдя еще немного, гребцы сложили весла и торопливо стали разбирать и «сыпать» в воду сети. Утлая, с плоским дном и тонкими бортами, лодка колыхалась под дюжими ногами работавших; сети, скользя по мокрому борту, слегка плескались в воде. Когда их опустили, те, что держали веревку, уже чувствовали, как что-то там, в глубине стучалось и толкало сеть, и веревка судорожно дергалась в руке. От этого у державших торопливо стучало сердце и слегка дрожали руки. Недаром эти люди с таким напряжением, переводя дыхание, озираясь в чернильной тьме, пробирались по камышевым зарослям водной пустыни. Одна ночь могла обеспечить им жизнь, жизнь самую веселую, приятную, счастливую на недели, на месяцы.

Стали тянуть. Мокрые отяжелевшие сети тихонько ползли из воды на борта. Темные фигуры осторожно

выбирали трепетавшую рыбу и опускали на дно все больше и больше садившейся лодки.

Странный звук, точно писк проснувшейся птицы или скрип железа о железо, почудился в темноте. Рыбаки бросились на дно и лежали не шевелясь. Неподвижная лодка на воде казалась черной тенью. Затаив дыхание и чувствуя удары собственного сердца, стали вслушиваться: попрежнему, смутно вырисовываясь, стояли камыши, сверху чудились темные тучи, и было темно и тихо, но эта темнота и тишина разом приобрели таинственный, угрожающий характер, — чувствовалось чье-то незримое присутствие.

Без звука, не шелохнув камышами, стали снова выбирать сети: лодка садилась все больше и больше.

Откуда-то из-за камышей, ярко прорезая густой мрак, блеснул огонь, и вслед почти без промежутка грянул ружейный удар. В воздухе с удаляющимся свистом пронесся как бы рой пчел. По воде донеслись человеческие голоса, крики, брань.

— Уходи, ребята... взяли... — донесся из темноты чей-то полузадушенный голос.

— Руби!..—раздалось на лодке.

Раз! Раз! Перерубленная топором веревка соскользнула с борта, и сеть с целым богатством, сулившим все доступные радости, пошла в темную воду.

— Гребите!..

Четыре человека рвались, как бешеные. Лодка не плыла, а дергалась скачками, вздымая перед собой горы невидимой, шумящей в темноте пены. Кругом все тревожно встрепенулось опять зашелестел-заговорил ка-

мыш, закрикали, захлопали потревоженные утки, заукала выпь. Ночь, проснувшаяся и перепуганная, спросонок заговорила на разные голоса, и кругом как будто стали обрисовываться неясные и странные контуры.

Гребцы откидывались на спину, далеко занося весла; казалось, вот-вот лопнут от нечеловеческого напряжения мышцы, порвутся связки и, как роса, выступят на налившихся глазах капли крови. Того, от чего уходили эти люди, не было видно, но в темноте слышно было, как о н о нагоняло лодку. Слышно было, как кто-то часто, коротко, отрывисто дышал — так быстро дышат летом собаки, — и все ближе и ближе слышалось в ночной мгле: xxx-xxx-xxx-xxx... И это приближавшееся по воде короткое, прерывистое, торопливое с металлическим отзвуком дыхание заставляло людей, работавших в лодке, напрягаться до последней крайности...

— Сто-ой!..

Лодка попрежнему неслась, как бешеная. Сидевший на корме Сидоркин налегал на правильное весло, под которым шумела вода. Он все яснее и отчетливее слышал приближавшееся дыхание; когда раздался грозный оклик, различил позади неясный, вырисовавшийся в темноте силуэт.

— Сто-ой! стой!..

— Пропали! Выкидай рыбу... да в камыши...

— Греби!.. — разнесся по всему лиману хриплый оборвавшийся голос Ивана, — поддержишься... братцы... не давайся!.. Братцы... братцы... братцы!..

Он видел, что лодка была перегружена, но он не мог пожертвовать ни одной рыбиной, — слишком доро-

гой ценой напряжения, усилий, риска куплена она была.

Полоса света лета, колеблясь и играя, по взволнованнейшей, расходившейся поверхности: нагонявшие поставили фонарь. Иван сильно налег на кормовое весло — лодка рванулась в сторону, вырвалась да полосы света и понеслась к стене камышей, даже среди темноты ночи выделявшихся своей густой чернотой.

— Стой-ой!.. стрелять буду!.. — донеслось сзади.

Опять яркий свет озарил на мгновение воду, небо, камыши, лодку с рвавшимися на ней рыбаками и нагонявший их небольшой катерок, из трубы которого, как торопливое дыхание, часто выбивался пар. Гром выстрела покрыл ночные голоса, и над лодкой, как шмелиный рой, с жалобным удаляющимся звуком пронеслась кучка картечи. Лодка, раздавая направо и налево и ломая камыши, влетела в их сплошную массу. Рыбаки напролом стали гнать ее между ложившимся тростником. Сзади раздался снова выстрел, и картечь зашлепала по воде между камышей.

— Стой, а то всех перестреляю!

Катер, шурша полегшим камышом, пошел за лодкой по проложенной ею дороге. Рыбаки, задыхающиеся, обливающиеся потом, выбивались из последних сил. Впереди смутно обрисовывалась чернеющая громада берега: спасение было близко.

Вдруг лодка мягко ткнулась в ил — и сразу стала. Рыбаки побросали весла, скользя и спотыкаясь, схватили ружья, положили их на борта и прицелились.

— Бей!..

Осветились камыши, вода, взволнованная, склонившиеся к бортам лица, кусок берега, набегавший катерок, и в мгновенно наступившей темноте треснули выстрелы. Пули защелкали по трубе, по бортам катера. Опять осветилась вода, и вместе с громом залпа, взбудоражившего весь лиман, посыпалась картечь с катера, который набежал и ткнулся носом в закачавшуюся лодку.

Ночь, черное небо, темная вода, — все с испугом, с недоумением вслушивалось в то, что происходило посреди небольшого плёса, потому что происходившее там слишком не вязалось с ночным спокойствием, тишиной, с этой теплой летней темнотой, которая неподвижно стояла кругом и в которой поблескивала вода. Но люди были так переполнены взаимным озлоблением, тревогой, близкой опасностью, что не замечали этого испуганного недоумения, не замечали ни этой ночи, ни поблескивавшей в темноте воды.

Возбужденные, с коротким, отрывистым дыханием они перебрались с озлобленно шипевшего катера на покорно и виновато колыхавшуюся под ногами лодку, где такие же возбужденные, с таким же торопливым, прерывающимся дыханием люди растерянно метались, пытаясь сбросить за борт ружья и патроны. В темноте блеснуло обнаженное оружие.

- Давай сюда ружья!.. Давай, дьявол, башку снесу!..
- Бери, бери... не держим... бери, на!., забирай!.. Мы ничего... Не бей!..
- То-от ничего... Давай еще.
- Все... больше нету... не бей... Что бьешь-то?..

— Садись на весла да езжай впереди катера. А тот чего лежит? Эй, ты, подымайся, а то вот садану шашкой, — подымешься.

— Убитый...

К лежавшему в неестественной позе наклонились, — это оказался Иван. Он смотрел перед собой в темноту и ничего не говорил; при каждом дыхании в груди его что-то слегка клокотало, и рубашка становилась все больше и больше мокрой от крови. Его положили более удобно.

— Ну, пошел!

Весла опустились и стали пенить и слегка шуметь водой. Катер тихонько пошел следом, сдержанно дыша, точно чувствуя, что острота борьбы и напряжения кончилась, и наступило печальное и грустное. Кругом пропала таинственность летней ночи, просто — было темно, шуршал камыш и плескалась вода.

Стал заниматься рассвет, а когда доехали до места, уже поднялось солнце. Оно осветило берег, реку, дальний луг, станицу, небольшой катерок у берега и лодку с заснувшей рыбой, сетями и неподвижно лежавшим в ней навзничь человеком. Лицо его было бледно, глаза закрыты, пересохшие губы крепко сжаты. Из весел и сетей устроили носилки, положили на них раненого и понесли, стараясь итти в ногу...

Иван открыл отяжелевшие веки, глаза ввалились, лицо осунулось и постарело лет на двадцать. Пересохшие, воспаленные губы зашевелились, и он проговорил, с усилием приподнимая брови:

— Ба... тюш... ку...

В комнату, куда его внесли, стал набиваться народ, — соседи, родные, любопытные. Сплюснув на стекле губы и носы, прилипли к окнам собравшиеся отовсюду ребяташки. Пришел поп, маленький, седенький старичок с потухшими волчьими глазами, в потертой рясе. Зажгли восковую свечку. Поп надел эпитрахиль, выпростал седые волосы, достал крест. Иван лежал, глядя в потолок, не произнося ни слова. Поп велел выйти всем и подошел к нему. Он стал один за другим, не останавливаясь, творить обычные вопросы, а Иван, с смягчившимся лицом, с проступившими на глазах слезами умиления и покаяния, шептал иссохшими губами, приподнимая каждый раз брови:

— Грешен... грешен... грешен...

— Ближнего осуждал? К жене, к детям был несправедлив? Заповедей божьих не исполнял? Опивался, об'едался? Родителей не почитал? Посты, святою церковью установленные, не блюл? Праздники господни нарушал?..

— Грешен... грешен... грешен...

— Начальство установленное ослушался и руку поднял, — грех смертный, караемый и в сей и в будущей жизни...

Не успел поп договорить, как раненый рванулся, отчаянным усилием приподнялся, захрипел, запрокинулся; кровь обильно побежала из-под перевязки; на губах проступила кровавая пена; остеклевшие глаза неподвижно остановились. Поп приложил крест к холодеющим устам. В комнату с безумными причитаниями вбежала жена Ивана. Все крестились.

— Помер. Царство небесное.

ПОД УКЛОН

I

Мелкий надоедливый дождь без устали сыпался с серого неба на рельсы, на шпалы, на крыши и стенки вагонов, на пассажиров с узелками, с баульчиками и картонками, торопливо переходивших через путь, и с ветром забирался даже под навес крытой платформы, асфальт которой, становясь мокрым, темнел все более и более.

Я ходил вдоль длинного поезда на пятом пути. Вагоны, молчаливые и угрюмые, неподвижно стояли друг за другом, ожидая, когда там, далеко, в голове поезда, гремя цепями и шипя клубами белого пара, дернет паровоз, и они постепенно, один за другим, пойдут сначала неохотно и медленно, а потом быстрее и быстрее, и бесчисленные колеса, мелькая над рельсами, поведут свой ритмически-однообразный, но полный для едущих значения разговор.

Поездная прислуга стоит у вагонов. Отпечаток скуки, однообразия лежит на кондукторах, как и на вагонах. Впереди предстоит то же самое, что было тому

назад день, неделю, месяцы, годы: тот же убаюкивающий ход, те же разнообразные фигуры и лица пассажиров, стрижка билетов, «зайцы», недоразумения с публикой, станции, буфеты, неодолимое желание на каждом из них выпить одну-другую рюмку и заесть ее соленьким и возможность делать это только через десять-двенадцать станций, так-как везде задолжено, и не верят в долг, наконец, мучительная борьба с дремотой в утомительные ночные переходы, — все это написано на их скучающих лицах. От нечего делать они прохаживаются перед вагонами, провожая глазами проходящих мимо и суetyщихся пассажиров.

Ударил второй звонок, потом третий, послышался обер-кондукторский свисток, впереди два раза откликнулся паровоз, и то, чего так долго дожидались вагоны, началось: заскрипели, завизжали и натянулись тяжи, разошлись буфера, и колеса пошли друг за другом.

Поезд прошел водокачку, семафор, изогнувшись по закруглению, обошел предместье города, потом, выровнявшись нескончаемой вереницей бегущих друг за другом вагонов и стуча всеми колесами, покатился по убегающим в серую даль рельсам.

II

Я сидел один на скамейке, слегка покачиваясь от хода вагона. Это был вагон третьего класса, и потому его качало и трясло; в нем было грязно, душно, наплевано, скамейки липли к рукам от человеческого пота и грязи, но никто из пассажиров на это не обращал внимания, очевидно, проникаясь убеждением же-

лезнодорожников, что третьеклассную публику можно возить и в хлевах.

Из-за перегородок сидений виднелись спины мужиков-хлеборобов в дубленых полушубках, картузы мелких торговцев, худые, с впалыми щеками лица фабричных в замасленных блузах. Вся эта публика страшно воняла махоркой, тулупами, смазными сапогами, разговаривала, смеялась. По вагону ходили синие табачные волны.

Я стал глядеть в окно, которое наискось сек дождь, торопливо сбегая вниз целыми потоками. Сквозь движущуюся водяную пленку неясно виднелись проносившиеся телеграфные столбы, лужи, мокрая черная земля и белые пятна еще неуспевшего растаять снега. По низкому небу в том же направлении, как и поезд, бежали, обгоняя его, серые тучи.

Вагон все больше и больше заполнялся табачным дымом и сумерками дождливого весеннего вечера. Мужички разговаривали с купцом, наклоняясь и махая руками, о земле, об урожае, о ценах на зерно, а один из фабричных вытащил из кармана маленькую гармонию и стал небрежно слепка наигрывать, затейливо перебирая пальцами и с таким видом, как будто хотел сказать: «Вот, ежели захочу, так гряну — жилки все пойдут, но только не хочу, а так балуюсь»; и звуки его гармоники терялись в монотонном и однообразном гуле поезда.

А этот гул неся из-под полов неумоимо и неустанно, ровно и уверенно. Казалось, катившиеся вагонные колеса спокойно выговаривали: «тра-та-та...

тра-та-та... тра-та-та — все идет, как надо, это привычное постоянное наше дело, и мы хорошо его делаем... тра-та-та... тра-та-та...» Узкие окна, двери, сиденья с перегораживающими вагон спинками, выгнутый потолок, стенки, покрашенные желтой краской под дуб, тяжелая атмосфера, фигуры пассажиров, — все сливалось с этим непрекращающимся гулом в одно впечатление чего-то длинного, утомительного, однообразного и скучного.

— Билеты... ваши билеты!.. Приготовьте ваши билеты...

Четыре кондуктора в черных перехваченных кушаками куртках, с отпечатком молодцеватости и выправки, вошли в вагон, плотно притворяя за собою двери. Один из кондукторов прошел вперед и стал в проходе, другие два поместились сзади, у двери.

Высокий, плотный, с окладистой красивой черной бородой «обер», неспеша, с достоинством и сознанием своей власти брал билеты, просматривал штампель и просекал. Мужички торопливо развязывали свои кошельки и извлекали оттуда билеты, уже успевшие засалиться и пропахнуть тютюном. Сидевший против них фабричный с испытанным лицом и гармоникой в руках и два его товарища, когда к ним подошел «обер», ухмыляясь, полезли в карманы шароваров, потом в жилет, потом в пиджак, потом опять в шаровары, разыскивая неположенные билеты.

— Ваши билеты?

— Диковинное дело, куда делся... Потерял, стало быть.

— Высадить, — проговорил обер и прошел в следующее отделение.

— На следующей станции потрудитесь, господа, встать и оплатить проезд в двойном размере, — обратился последний кондуктор, маленький человек с веснушчатым лицом и красными веками, и, слегка отвернувшись, подставил руку, сложив ее чашечкой.

Каждый из фабричных положил в чашечку по двугривенному. Кондуктор ушел.

— Ишь, мошенники, знают только зайцев возить да карманы себе набивать. И чего только начальство смотрит!

— Что же начальство! Которое пониже — свой процент получает, которое повыше, известно, в страхе держит кондукторов, гонит их со службы. Да что с ними поделаешь!

— У них даже таксия своя: до Черкаска двадцать копеек, до Грушевки — сорок, аккурат вдвое дешевле.

— Што ж такое, им тоже пить-исть хочется.

— «Пить-исть хочется...» — так ты работай, а не то что хозяина обворовывать, — запальчиво заговорил купец. — Тоже вот и по нашему делу приказчики: ты гляди за ним в четыре глаза — и не углядишь.

— Охо-хо-хо!.. — крестя рот, широко зевнул мужичок и, опершись о колени, стал задумчиво смотреть в пол.

III

Дождь попрежнему расплывался по стеклам. Поезд, видимо, шел под уклон, вагоны стало качать, и

они скрипели и кряхтели. Белевшие пятна талого снега и телеграфные столбы проносились мимо с такой быстротой, что их не улавливал глаз, и вдоль полотна мокрая от дождя земля сливалась темной полосой.

Сумерки сгущались. Вошел кондуктор, зажег сверху свечу, и от сидений, от перегородок, от пассажиров легли, перегибаясь по углам, колеблющиеся тени, скользя и двигаясь по стенке раскачивающегося вагона.

— Что это такой ход быстрый? — обратился я к кондуктору, проходившему в другой вагон вправлять свечу.

— Под уклон тут идет, поезд громадный, товаро-пассажирский, так за нами тридцать две штуки товарных вагонов груженных, кроме пассажирских, ну, и напирают; паровоз-то не осилит, накатывается на него — вот и летим.

Впереди потянулся жалобный звук паровозного свистка, уносимый ветром и заглушаемый дождем и гулом поезда. Маленький паровозик жаловался на темноту, на непогоду, на непосильный груз, который на сотнях колес катился позади и накатывался, и он ничего с ним не мог поделать, он жаловался и просил помочь тревожными прерывающимися свистками. А под полом в свою очередь вагонные колеса, сбиваясь, путаясь и перебивая друг друга, торопливо говорили: «И мы не поспеваем... сил нет... вагоны качаются... вот-вот сорвешься с рельса... буксы разогрелись... искры сыплются... быть беде!.. трах-трах-трах... трах-трах-трах!..» И этот призыв о помощи среди надвигающейся дождливой ночи и тревожный говор колес вселяли беспокойство...

— Дуем, братцы, здорово, — проговорил фабричный, запихивая в карман гармонию.

Мужик снял шапку и стал сосредоточенно и неспеша креститься. Купец тревожно оглядывался.

— Что же это? Куда кондуктора подевались? Умеют только зайцев возить. Что же это такое?.. Надо на станции заявить начальнику.

— Да, заявишь, как тебя прищепит да кишки выпустит, — вызывающе бросил рабочий.

— Все под богом ходим, — проговорил мужичок и, полагая, что достаточно накрестился, надел шапку, спокойно уселся и снова уставился в пол.

Среди ночи опять потянулись в голове поезда жалобные, тревожные призывы о помощи, уносимые ветром. Жуткое ощущение близости беды охватывает меня, и я, сохраняя внешнее спокойствие, подымаюсь и направляюсь к двери, чтобы выбраться на площадку, но в дверях сталкиваюсь с кондуктором.

— Не извольте беспокоиться, вы лучше, господин, сидите: там, в случае чего, перво-наперво... ежели вагоны сойдут, — утешает он меня, и я опускаюсь на свое место.

Кондуктор садится против на лавочке, прислоняется головой к стенке вагона и начинает дремать.

— Чего он все свистит? — говорю я, чувствуя, что задаю нелепый вопрос.

— А это, чтобы вагоны тормозили вручную; ну только тормоза не держат, старые.

Он помолчал немного и добавил:

— Закругление... место скверное.

Опять холодное ощущение ожидания томит душу. Мне хочется разговором подавить это тягостное состояние.

— Вы давно служите?

Кондуктор нехотя подымает отяжелевшие красные веки.

— Шестнадцатый год пошел с февраля, — и опять закрывает плаза.

Его добродушное веснушчатое спокойное лицо ободряюще действует на меня.

Купец, прислушивавшийся к нашему разговору, вдруг заволновался:

— Да что же это такое? Отчего же меры не принимаются? Ты чего же тут спишь? — накидывается он на кондуктора. — Зайцев вы молодцы в озить, а вот насчет чего другого прочего, чтоб, значит, пассажиру удобства доставить, об этом вы и в ус не дуете. Купец, собственно, хотел сказать о мерах, чтобы предотвратить крушение, но из суеверного страха перед словом «крушение» заговорил об удобствах публики. Кондуктор улыбается полувиноватой добродушно-наивной улыбкой.

— Как же быть? Мы тут не причинны, господин купец, нам какой состав дают, с тем и поезжай... Вагоны старые, тормоза не держат, нас об этом не спрашивают... Да вы не извольте беспокоиться, зараз с этой горы с'едем, там ровно пойдет.

Он немного помолчал.

— А насчет зайцев вы, господин купец, напрасно: ведь их-то нам не сладко возить. Его везешь, а сам не

знаешь, завтра будешь служить или нет, контроль — вот и готов, на улице с семьей. И все-таки возим. А почему? — Он уставился на купца своими добрыми голубыми глазами, мигая красными веками. — Волк, скажем, зверь, и тот, как голод прижмет, прямо на жилье лезет, на человека, и знает что убыют — а сам лезет.

Купец сердито отвернулся, неодобрительно и строго покачивая головой.

— Вы семейный? — опросил я.

— Семья, — проговорил кондуктор, добродушно улыбаясь, — шесть человек.

— Учатся?

— Учится один старший, на всех-то не хватает, а старшего учу.

И вдруг по его веснушчатому лицу расплылось радостное, светлое выражение, и от угла сузившихся глаз побежали морщинки, как будто человек сдерживал себя, чтобы не высказать постороннему что-то необыкновенно радостное и огромной важности.

— Уччу я его, в люди хочу вывести.

И, придвинувшись и наклонившись ко мне, проговорил, улыбаясь губами, лицом, глазами, всей своей фигурой, и высоко поднял брови:

— В гимназии, во втором классе.

Чтобы не обидеть человека, я удивился и спросил:

— Вот как, в гимназии?

— В гимназии, во втором классе, — повторил он выразительно, приподняв правую бровь и глядя на меня с восхищением, — во втором классе, шесть классов

осталось. Теперь у них третья четверть кончилась, — продолжал он таинственно, перестав улыбаться и погрозив пальцем, как будто сообщал это под большим секретом и был уверен, что это между нами останется.

Он вздохнул, казалось, от избытка волновавших его чувств и переложил ногу на ногу.

— Вот, приеду с наряда, узнаю... Кто его знает, как... благополучно ли, нет ли. Строго у них, ух, строго!

Мы помолчали немного.

— Трудно нам в нашем положении, — заговорил он, видимо желая продолжить разговор о близком его сердцу предмете, — трудно воспитывать детей.

Он достал завернутый в бумажку порошкообразный табак и, подбирая все крошки его, осторожно стал крутить папиросу.

— Сколько я этого зайца перевозил, пока приготовил Ванятку в гимназию, уму непостижимо. Самому удивительно, как я до сих пор на службе. Зато, как стал он учиться, земли под собой не слышу. Билеты отбираешь в поезде, с пассажирами резонишься, а самому все представляется, как Ванятка в класс идет: на горбу ранец, на голове форменная фуражка. Весь свет особенный стал. Рапортуешь начальнику, а он по-особенному смотрит, так вот будто и хочет спросить: «Ну что, отдали сына?...» Да, вот кончается первая четверть, зовут меня в гимназию.

Мой собеседник поднялся на лавку, вытащил из фонаря над дверью свечку, закурил, снова вставил свечку в фонарь и сел против меня, затягиваясь, пуская дым

в сторону и разгоняя его по воздуху рукой, чтоб он не беспокоил меня. Вагон теперь шел спокойно и ровно, под полом слышался обычный говор колес, в окна глядела ночь, пассажиры дремали, свесив головы.

— Кончается первая четверть, зовут меня в гимназию. Прихожу. Дождался, дожидаясь в передней, все ноги отстоял, все просители, какие были, все прошли, а я стою. Наконец позвали. Подымаюсь за швейцаром, показал он дверь, вхожу, за письменным столом директор сидит, строгий да суровый. Вытянулся я у притолоки. «Черемисов?» — говорит. — «Так точно». — «В кондукторах, говорит, служишь?» — «Так точно». — «Твой сын, говорит, у нас в первом классе учится». — «Точно так, говорю, ваше превосходительство». Он — действительный статский советник. Ну, хорошо. — «Так вот, говорит, сын твой слаб оказался». Как сказал он это, стало темно у меня в глазах, а потом все поплыло кругом — и директор, и письменный стол, и окна, и стена. Я к притолоке прислонился... — «Что же, говорю, ваше превосходительство, балуется?» — «Нет, говорит, этого не наблюдалось, слаб оказался по древнему, по латинскому у него двойка за четверть. Ему необходима помощь. Пригласите репетитора, пусть хорошенько позанимается». Я, как стоял, слова не могу выговорить, в горле пересохло. — «Ваше высокопревосходительство, говорю, осмеливаюсь вам доложить, трудно мне его в гимназии содержать. Получаю я, говорю, двадцать один рубль, больше доходов никаких про зайцев-то я уж ему не сказал, а как репетитору еще платить — мочи не будет». Как рассердился он, как закричит, как

затопчет ногами, я обомлел весь. — «Что это, говорит, лезете в гимназию, не имея средств! Это, говорит, затем, что пробудет ученик два-три года в гимназии и выбывает. Сколько, говорит, у нас доходит до восьмого класса. И без того все тыкают, что поступает в гимназию двадцать человек, а аттестаты получают два-три. Гимназия, говорит, не для того, чтобы недоучек плодить; ежели, говорит, средств нет, так отдай его в слесаря или сапожники». Кричал он долго, только уж не помню я ничего. Не помню, как опустился по лестнице, как шел по улице, как домой пришел. Выбежала жена, руками всплеснула: «Где ты пропадаешь, нарядчик два раза присылал!» Махнул я на нее, прямо в дом: «Ванятка!.. Что ты меня режешь!..» Плачет: «Папаша, по латинскому никак... папаша...» Потерял я голову. Сел сам с ним заниматься. Я ведь сам в гимназии был, — с достоинством заявил мой собеседник, — из пятого класса вышел, ну только все забыл, все, как есть, как будто утюгом в голове выгладили, все сравнило, хоть шаром покати... а? удивительное дело: пять лет грыз, и тебе следа не осталось. Вот стал я с ним заниматься: — «Читай». Читает — а м о, и я за ним — а м о. Что такое амо? По какому падежу, и к чему относится? Ну?

Он в слезы: «Папаша, не так учишь... у нас не так...» А я взопрел, голова лопается, а тут нарядчик прислал в последний раз, что, дескать, ежели не приду сейчас к наряду — к расчету. Тут уж у меня в голове помутилось. Как вспомнил я, сколько зайцев перевозил, когда готовил его, а потом зайцы для платы за правоучение, зайцы на книги да на мундир, да на ранец, да

на перышки, тетради, нет им числа и краю, вспомнил, что и вперед, тока кончит, придется бесчисленно их возить, и все семейство будет дрожать, что вот-вот из-за него все останемся без куска на улице, — у нас каждый день, почитай, сменяются целые бригады из-за этих самых зайцев, — свету божьего не взвидел, ухватил с себя ремень и давай его ремнем, давай его ремнем... Плачет, кричит, руки целует: «Папаша!.. папа-ша!.. папаша!..», а я его ремнем, у самого руки трясутся, а я его ремнем... кровью подплыл...

Лицо кондуктора вытянулось, заострилось, и он, точно его подгоняли, торопливо стал сосать папиросу.

— Не помню, как выскочил, как прибежал к нарядчику, как с поездом пошел... До этого пальцем его не трогал. Через двое суток ворочаюсь, зараз: дневник подавай. Принес дневник, гляжу: по латинскому три с минусом. Обрадовался я и боюсь, что это по нечаянности, ухватил опять ремень и давай его ремнем. Кричит: «Папаша, я стараюсь... я стараюсь... я стараюсь...» — А я еще!.. Вот с тех пор каждый раз как ворочаюсь, секу... Он уж знает, увидит в окно, весь побелеет, затрясется, глазами бегают... Иной раз нарочно лишний раз не в очередь в наряд уйду, чтоб, значит, не ворочаться домой — передышку ему дашь, ну да и поверстных лишних загонишь; а как воротиться — высекешь. Уж думал я, голову ломал, чтобы не сечь его, а репетитора нанять, ну, невозможно — десять целковых в месяц, немыслимо, это значит, остальной семье голодом сидеть. Иной раз так припадает, как контроль

зачастит, что с зайцев целковый в месяц принесешь. Только и есть. В бригаде-то все ведь делимся, обер-то наружность только одну показывает, что он не ведает, не знает ничего, потому, в случае чего — вину один кто-нибудь из нас на себя берет, а обера оберегаем, он в стороне.

Он замолчал и сдунул с папиросы пепел.

— Худой он у меня, высох, все книжки читает. Мать ругается, чтобы спать ложился, а он потихоньку возьмет огарок, — свечи у нас от вагонов остаются, экономия, домой приношу, — загородится одеялом на кровати и читает, а потом братьям рассказывает про разные страны, государства, про путешествия. С товарищами не играет, да и некогда — за уроками все. Говорит, как вырастет, в монастырь уйдет. Летом поправляется, летом я его не бью, веселый такой делается, я его все катаю, с собой беру, любит до страсти, станции разные, города видит. Иной раз оставишь на станции, купается, бегают, рыбу ловит, а назад ворочаешься часов через восемь и берешь его. Никак не дождемся лета.

— Погубите вы мальчика, забьете.

Он глянул на меня нето виновато, нето полупрезрительно.

— Моя жизнь, господин, конченная. Шестнадцать лет я только и знал, что вагон да станция. Дому-то я, почитай, и не видал. Приедешь домой, ну, самоварчик, тепло, семья, да вспомнишь, что время идет, скорее спать, хоть отоспишься-то, — в вагоне немного напишишь; а там выскочишь, скорее в наряд, и опять тря-

сись. Душно, накурено, скучно... Вагон для нас все: и семья, и церковь, и дом... Да в пассажирском еще хоть тепло, не мерзнешь, и на людях все с хорошим человеком хоть словом перекинешься, а как на товарном, господи, да не дай ты, царица небесная, упаси и избави! Сидишь на площадке один-одинешенек целыми днями, ветер, дождь, снег насквозь тебя пробивает, заочнеешь так, что еле слазишь, только тем и держишься, что водки выпьешь на станции... Половину своего жалованья в буфете оставляем. Не дай, господи... А тут еще то сказать, с другой стороны, что начальство нас на собачьем положении считает. Как встретился с красной фуражкой, хоть и не виноват, а у самого, как у собаки, хвост и уши поджимаются... Правов у нас никаких, не признают, а если чуть рот разинешь. Да что! Меня начальник станции два раза по морде с'ездил, — проговорил он, вызываяще глядя мне прямо в глаза, — и ничего — с'ел... Мы люди, что ли... так, дикие животные: ее пнул ногой, она даже визжать не смеет.

Он на минуту смолк, усиленно затянувшись папирсой.

— Поопределяю ребят, кого в столяры, кого в сапожники, кого в слесаря... Известно, какая их жизнь будет: пьянство, драка, мордобой... И мне не два века жить, помру, что же останется на земле? Вот и тянусь, в веревочку вьюсь, чтобы Ванятку человеком сделать, чтобы память оставить... Мои кости будут гнить, ребята, — кто куда, какую уж им долю господь положит, потому на всех сил моих не хватает, а Ванятка

останется после нас... Никто не посмеет ему не то что в морду или в зубы заглянуть, или обругать, а и грубое слово сказать, все к нему с уважением, не надо ему будет воровать, зайцев крадучись возить, как отец возил... И я спокойно в гробе буду лежать, что оставил по себе хоть одного человека настоящего. Я, господин, мясо дам из себя резать живое, только бы Ванятку довести... Господи!.. ляжешь иной раз в вагоне в своем отделении, не спишь, глядишь в темноту, в потолок, и все Ванятка представляется, как ходит, говорит, какое лицо, на горбу ранец, а на голове форменная фуражка, — не оторвался бы...

Его веснушчатое, добродушное лицо, слегка сощуренные глаза, от которых бежали морщинки, светились нескрываемым радостным воспоминанием о сыне, и от всей его фигуры, освещенной неверным колеблющимся пламенем огарка, веяло простотой и искренностью.

В голове поезда опять потянулся свисток, но теперь спокойный и ровный.

— Кизитеринка,—проговорил кондуктор, торопливо докуривая остатки своей папиросы, которая стала жечь ему пальцы, и на лицо его и на фигуру набежало обычное выражение, которое бывает у кондукторов, когда они проходят по вагону, отбирают билеты и заученно выкрикивают скучными голосами: «Станция такая-то, поезд стоит столько-то».

Он задавил ногой окурок и вышел.

Поезд все больше и больше задерживал ход. Сквозь черное окно, на стекле которого то-и-дело появлялись продолговатые капли дождя, загорелся зеленый огонек

стрелки и тихонько проплыл назад. Показались неясные темные контуры станционных зданий, платформа, слабо отражавшая в лужах огни фонарей, тускло светивших сквозь сетку дождя. Вагоны толкнулись, подались немного назад, и ясно стало слышно, как без усталости барабанил по вагонным крышам дождь.

ДЕЖУРСТВО

В окнах все так же угрюмо стояла темнота октябрьской ночи, и в молчаливой и неподвижной комнате царила та тишина ночного покоя, в которой чувствуется что-то таинственное и неуловимое. Слегка подвернутая лампа одиноко и задумчиво горела под потолком, слабо освещая комнату. По стенам на полках выступали из полумрака белевшие рядами банки, флаконы, притертые стеклянными пробками и с печатными надписями; за шкафами выделялась неясным силуэтом высокая пульта провизора.

Огромные стеклянные двери, выходившие на улицу, были заперты. Сквозь другие двери, открытые в соседнюю комнату, на высокой стойке неясно виднелась фигура спавшего человека. Это был дежурный в эту ночь ученик. Тяжелый, неподвижный сон овладел его молодым усталым телом. Октябрьская свежесть проникла сквозь одинарные рамы в комнату; спавший человек, которому казалось, будто он сидит на дворе раздетый, потянул на себя старенькое пальто, служившее ему вместо одеяла, и закрылся с головой. И молчание,

неподвижное и полное таинственности, продолжало царить среди полумрака.

Но вдруг, нарушая тишину и то, что невидимо совершалось здесь среди ночного покоя, резко зазвенел колокольчик. Слышит его Ветлин и знает, что надо ему сейчас же встать, потому что он сегодня дежурный, и не может он себя заставить: так тепло и уютно лежать. И пока он думал, что надо встать, и не мог встать, набегавший сон понемногу подавлял сознание и перепутывал ощущения, и он стал опять забываться.

Снова зазвенел звонок, резко, сердито, нетерпеливо вздрагивая. Ветлин торопливо поднялся и свесил ноги со стойки. Шкапы, пульта, полки, флаконы, весы, ступки — все неподвижно стояло перед ним на своих местах в том же порядке, как и всегда.

Ветлин подумал, что, верно, скоро утро, и опять начнется то же самое: придут ученики, начнутся разговоры, брань, надо будет сдать кассу, пойдут рецепты, ручная торговля. Это было до такой степени скучно,

тяжело и уныло, и так мучительно хотелось спать, что он опять было прикурнул к теплой подушке, стараясь уловить разорванное ощущение сна, но сию же минуту вскочил, спрыгнул со стойки и подбежал к выходной двери.

— Иван, слышишь, Иван, отвори!

Сторож, опавший на полу у двери, в ответ только сладко похрапывал из-под армяка.

— Какого же ты чорта! Слышишь, что ли?

Ветлин толкнул его ногой. Сторож поднялся,

сонно почесал себе живот, спину, потом встал и начал возиться с крючком у двери. Дежурный пригладил растрепавшиеся волосы, поплевал немного на руку и слегка почистил ею на себе платье, потом встал на табуретку, открутил лампу, и пламя, разгораясь широким шаром, ярко осветило всю аптеку, и все таинственное исчезло, во все стороны легли тени от стоявших предметов. Не прогнало только это яркое освещение мучительного сна, смыкавшего глаза Ветлину. Ему приходится дежурить через ночь, а отдыха после дежурства не дают. Его поднимают сегодня в пятый раз, и он чувствовал, как в голове все шло кругом, и в ушах ровно и однозвучно стоял шум, и от этого его слегка покачивало, и дрожали ноги, как после езды по железной дороге.

Дверь отворилась, впуская свежий ночной воздух. Неуклюже пролезая боком и стуча сапогами, входит в аптеку громадных размеров кучер, а за ним тоненькая горничная в большом платке.

Она подает рецепт. Кучер мнетя возле двери и бурчит:

— Целый час колотишься, не добудишься никак, тоже — аптека называется...

— Ну, ну, ну, не бурчи! Стань там да дожидайся.

— Мы не бурчим, а только, какие вы есть аптекаря, как вас не достучишься.

Ветлин пробегает рецепт.

Кучер еще немного помялся, постоял, неодобрительно покачал головой и, повернувшись, демонстративно вышел и стал дожидаться на улице,

Снова в аптеке тишина; монотонно тикают часы, за шкапом слышится мерный храп помощника провизора.

«Эх-эх! Когда же это конец будет?!»

Ветлин берет лесенку и лезет на самую верхнюю полку.

«Гоняют тебя, как выючное животное, и нет тебе ни отдыха, ни сроку».

Он стал работать, и стали ему приходить мысли о его положении, о его жизни, о том, что вот-вот что-то переменится, и все пойдет как-то иначе, и жизнь сложится совсем по-другому. Но каждый день уходил и терялся в веренице таких же серых, однообразных унылых дней, оставляя щемящее, тоскливое чувство, что чего-то нет, чего-то именно такого, что, собственно, и составляет жизнь, точно этот день прошел как-то мимоходом, не в счет. Да и самое его пребывание в аптеке казалось ему странным, случайным, временным. Он вышел из пятого класса гимназии, деваться было некуда, его и отдали в аптекарские ученики. И потянулась с тех пор та самая жизнь, которую, казалось, он не мог прожить и трех дней и которую он жил уже три года: по целым неделям сидеть взаперти, дышать приторно насыщенной атмосферой, не видеть свежего воздуха, света божьего и людей, за исключением тех, которые приходят в аптеку, работать по шестнадцати часов в сутки и постоянно чувствовать, что обращаются с тобой, как с рабочим скотом. Ветлин думает, что он три года живет такой жизнью и что он недаром живет; в голове мутно роятся безобразные

воспоминания распушенности, оргий, цинизма, ненависти к хозяину, постоянной брани и ссор с помощником провизора. Детство, семья, школа где-то далеко, далеко в прошлом мелькают грустными воспоминаниями.

Ему становится больно и горько. Все это сделалось как-то незаметно — день за днем. Он этого не хотел и знает, что прошлого уже не воротишь.

И его мысли, и его работа, и эта тишина, и ночь, все так же угрюмо стоявшая в окнах, — все это сливается во что-то тяжелое, безотрадное, что щемит тоскливой безнадежностью. Ночное время все так же бесконечно тянется, тикают часы, и среди дремотной тишины мерно и однозвучно нашептывает что-то монотонный голос.

Горничная дремлет. Трудно мигать. Какое-то странное насекомое, проворно работая лапками, старается заткать паутиной ресницы и веки. Не хочется напрягаться, думать. Ветлин машинально работает, привычным движением доставая то ту, то другую банку и не глядя на надписи: он помнит, что где стоит. Радужные круги расходятся в слипающихся глазах от красного огня лампы, становятся шире, бледнее, понемногу заполняя аптеку чем-то серым, неопределенным, сливающимся с мерным звуком часов. Равнодушное безразличие охватывает его; аптека, окружающая обстановка, дожидаящиеся люди — все это теряет свое значение, важность. «Тик-так-так... тик-так-так... тик-так-так...» все так же мерно, дремотно нашептывает ему знакомый голос, и он прислушивается и отдается ему.

Кажется ему, будто он опять спит на стойке, и постоянная, ни на минуту не покидающая тяжесть уже не давит ему сердце. Знает он, что это не надолго, стоит только пошевелиться, все пропадет. И хочет он что-то переменить, поправить, но силы оставляют его, мускулы расслабляются, все тело осунулось, голова свешивается.

Ступка, задетая сонным движением, падает на пол, разбивается.

Ветлин испуганно вскакивает и бросается подбирать осколки. Прислуга с удивлением смотрит на него.

На дворе светает. Кучер дожидается, прохаживаясь на улице перед окнами.

Неприятное чувство досады тревожит Ветлина: завтра будет страшный содом из-за разбитой ступки. Это происшествие несколько разгоняет сон. Он подозрительно посматривает в ту сторону, откуда доносится храп помощника, торопится доделать, берет банку с одним из алкалоидов, осторожно нагибает, крепко держа ее в руках, и легонько постукивает: белый порошок тонкой струйкой проворно бежит в горлышко пузырька, который стоит на весах; весы качнулись немного и стали. И странно, эта тонкая белая струйка бежавшего порошка каким-то тревожным и беспокойным впечатлением залегает в памяти.

Зажав пальцем, он быстро взбалтывает микстуру, потом берет рецепт, сигнатуру, перо, чернила и свечу и идет за шкаф, где спит помощник.

— Федор Иванович, вставайте, рецепт.

Попрежнему слышится мерное с легоньким свистом дыхание спящего человека.

— Да вставайте же, какого же вы идола притворяетесь?

Он берет его за плечи и начинает трясти.

— Мм... ну, будет... пустите... уйди...

— А, тварь поганая!.. — и Ветлин ругается самыми скверными словами и ручкой пера больно тыкает помощника в ребро.

— Ой, чорт, да что вы пристали... убирайтесь к чорту, пошел!.. Не может сказать по-человечески. Мужик...

— Да ведь я уж час стою над вами... ведь дожидаются же в аптеке.

Помощник наконец подымается и сонно, недовольно мигает на свет свечи. Он берет докторский рецепт и, шурясь, просматривает.

— Ну, говорите.

Ветлин пялит глаза в потолок и начинает говорить на память, сколько и чего он клал в микстуру. Помощник еще раз сверяется с рецептом, подписывает сигнатурку, потом натягивает одеяло и моментально засыпает.

— Эк, тебя не раздует, куцый дьявол, когда только ты выплещешься, — и Ветлин дует на свечу, идет к стойке, прихватывает к пузырьку сигнатурку, заворачивает и передает горничной.

— Сколько же вам за лекарство? — Рубль десять. Горничная отдает деньги и уходит:

— Прощайте.

Сторож опять запер за нею дверь и сейчас же захрапел на полу.

Ветлин постоял несколько времени на одном месте, посмотрел в окно на пустую улицу, потом на часы, — стрелка показывала шесть, — заложил руки за голову, потянулся всем телом и долго зевал. Хочется спать, глаза так и слипаются, да все равно заснуть уже не успеешь — ученики должны собираться, аптеку открывать надо.

На дворе еще больше посветлело.

«Видно, умыться», — подумал он и пошел к умывальнику.

Засучив рукава, расстегнул ворот и опять потянулся и зевнул: «Разве подремать чуточку». Подушка, пальто, сброшенное к ногам, лежали тут же на стойке. Он быстро спустил рукава, забрался на свое ложе, и, ежась и кутаясь в пальто, свернулся калачиком. По телу побежала приятная теплота, а в голове неясные представления начинающегося утра, привычной обстановки и ласкового и лукавого выражения сереньких глазок приходившей девушки. Потом мысли понемногу исчезли, и осталось лишь то приятное ощущение, которое испытываешь, когда овладевает сон, незаметно подавляя сознание.

Но это продолжалось недолго. Как только он заснул и воздух под пальто, которым он укрылся с головой, сделался от дыхания тяжелым и спертым, что-то тяжелое, бессмысленное и лохматое опять навалилось на него. Он спросил: «к худу или добру?»

А тот ему на ухо, как из бочки: «К худу, к худу, к худу...» Долго все это мучило его, и отяжелевшая голова была налита, как свинцом, когда наконец в аптеке послышался говор и шум.

Два раза по улице прогремели дрожки и остановились. Этот странный говор, движение и необычное присутствие многих и, как ему казалось во сне, чужих людей сообщало ему волнение; он старался проснуться — и не мог, и все тянулся куда-то и никак не мог дотянуться, и кто-то помогал ему, и это его мучило.

— Вставайте... вставайте... вставайте... Ах, боже мой, да что он наделал!.. — слышался ему чей-то голос.

Помощник, неодетый, всклокоченный, с перекошенным бледным лицом трясет его из всех сил. Ветлин опомнился и вскочил на ноги. Красноватый отсвет забытой лампы, странно смешиваясь с дневным светом, проникал из двери аптеки. Мысль о пожаре мгновенно пронеслась в голове. Ветлин бросился туда.

В аптеке были уже все ученики, провизор, хозяин в халате с тревогой на лице, полиция. Тут же были кучер и горничная, приходившие сегодня ночью.

— Вы, господин Ветлин? — проговорил пристав, подходя к нему.

Ветлин молча, расширенными зрачками смотрит ему в лицо в предчувствии ужасного, непоправимого несчастья.

Пристав говорит:

— Сегодня ночью вы отравили человека.

ПРОГУЛКА

(На Азовском море).

Я утомился от усиленной работы, мозг отказывается служить, письменный стол опротивел. Напрасно сидишь, согнувшись, с пером, напрягаясь, — в голове каша — и ни одной мысли. Я вскакиваю и начинаю бегать из угла в угол; голова кружится; берешь журнал и через минуту бросаешь. Отвращение к умственному труду и в то же время необходимость работать — едва ли есть более мерзкое состояние. Пойти бы куда-нибудь отдохнуть, побеседовать, но при одной мысли об этом подымается желчь: такое состояние, что видеть никого не хочется. Экое отвратительное нервное мочало!

Я подхожу к окну и начинаю глядеть на улицу: небо серое, вдоль улиц восточный ветер несет тучи пыли, над городом стоит мгла — туман, пыль или дым с заводов. Невесело!

Меня осеняет внезапная мысль, и я бросаюсь к барометру. Ого! Стрелка неподвижно стоит. Ветер гудит меж баржами, несет дымом и гарью пароходов,

свистит в снастях и безжалостно треплет на мачтах флюгера, которые мотаются, как грешные души. Я спускаюсь к реке. Ко мне подходит знакомый дед, у которого беру постоянно баркас.

— Здорово, дед!

— Доброго здоровья!

— Давай лодку.

— О? Нешто поедешь! Тут и то страшно, — говорит он и махает рукой на почерневшую реку.

— Ничего, только поскорей давай.

Легкое волнение и тревога, которых я не могу подавить, овладевают мною. Дед за веревку подтягивает к берегу баркас; он не стоит на месте, танцует и прыгает на волнах, как невзнузданный конь, которого хотят седлать. Дед притаскивает парус, весла и складывает все в лодку.

— Только в море не выходи, по реке только.

— Ладно, ладно.

Я начинаю торопливо разбирать веревки, чтоб не возиться потом. Руки у меня слегка дрожат; мне стыдно деда. — «Экая скверность! Ведь сам иду, никто не тянет. Подлая трусость». — Отталкиваюсь. Ветер моментально подхватывает баркас и несет вверх, но я схватываюсь за весла и начинаю отчаянно грести. Уключины скрипят и визжат, мускулы напряжены до последней степени, а лодка еле-еле подвигается, точно десяток рук уцепилось за нее, и я их все волоку. Дед с берега смотрит некоторое время на меня, видит, что я направляюсь к устью, безнадежно машет рукой и уходит в свой шалаш.

Я начинаю справляться с бешеным ветром: берег, лодки, суда, «дубы», причаленные толстыми канатами у пристаней, лавчонки на пристани, — все это медленно, но непрерывно отходит вверх. Пот градом льется, но ни на минуту нельзя передохнуть: ветер сию же минуту подхватит и унесет на прежнее место, и все мои усилия пропадут. Впереди дымит небольшой пароход, — он должен вести на рейд «дубы» с хлебом, грузить иностранный пароход. По доскам, проложенным с берега на дубы, бегают, торопясь и сгибаясь под тяжестью пятипудовых мешков, рабочие, сбрасывая их в кучу.

Вот и устье. Тут настоящая толчея. Волны, которые идут с моря правильными отлогими рядами, встречаясь здесь с течением реки, начинают прыгать вверх и вниз с плеском и шумом, подымая дикую, оглушительную пляску, словно вы попали в самый разгул вакханалии. Мой баркас заражается этим необузданным весельем и в свою очередь начинает скакать, прыгать и выделывать самые удивительные прыжки, так что я едва в состоянии удержаться на сиденьи и работать веслами. Я стараюсь обуздать его и делаю нечеловеческие усилия, работая веслами. Только бы выбраться из этой толчеи.

Справа показывается на выступе спасательная станция. Возле нее стоит кучка людей. Они смотрят на меня.

— И куда этого дурака несет нелегкая в экую погоду! — доносит до меня ветер любезное замечание одного из зрителей по моему адресу.

Самолюбие мое задето. Я напрягаюсь из всех сил, но чувствую, что с каждым мгновением слабею. Неужели меня унесет назад?

Странное создание человек. Ведь вот мне сейчас опрокинуться и утонуть, как плюнуть, а меня не это занимает и наполняет тревогой, а то, что я могу осрамиться перед теми, что послали сейчас по моему адресу замечание; выбьюсь из сил и унесет назад ветром, или не справлюсь, паруса не поставлю, или опрокинет меня — придется им вытаскивать. Вот и лодка белеется спасательная, висит на кронштейнах, как будто ждет, что вот сейчас ей работа будет. Да ведь пока спустят ее, да пока поторгуются, да пока переругаются — кому где садиться да как ехать, двадцать раз успеешь утонуть.

Я продолжаю отчаянную борьбу с ветром, волнами и моим баркасом, который все так же пляшет. Но вот наконец выбираюсь из устья. Волны грозно и мерно вздымаются здесь правильными рядами. Как тяжело разбиваются они о прибрежные сваи! Если меня пронесет туда, лодку вдребезги расколотит и моментально накроет волной.

Надо ставить парус — самый серьезный и рискованный момент. Пошатываясь от качки, хватаясь за борта, добираюсь я до мачты, беру «конец» и что есть силы начинаю тянуть. Большой белый парус медленно подымается; его сию же минуту подхватывает ветром и начинает немилосердно трепать. У меня не хватает сил: парус дошел до половины и не идет дальше — «заело» конец. Я с секунду передохнул и, упершись

в мачту, тяну веревку; от напряжения начинает стучать в голову. Наконец-то парус взвивается до верхушки, я бросаюсь к рулю, и мой баркас ринулся вперед, взрывая носом горы пены, как закусивший удила конь. Парус, весь наполненный ветром, выпятился огромным пузырем и страшно кренит лодку. Мутная зеленая волна, по которой крутятся воронки и белеет пена, с глухим ворчанием уходит из-под лодки, баркас опускается все ниже и ниже, мне уже не видно ни города, ни пристани, ни судов, ни пароходов, ни спасательной станции; предо мною только зеленоватый водный под'ем, по которому быстро несется белая пена, а сзади крутой водяной холм, заворачивающийся гребнем. Он уже совсем готовится накрыть меня, но ветер выносит баркас из этой гибельной лощины на верхушку волны. И тогда опять открывается волнующееся кругом море, берег, пароходы, мачты судов, станция и вдали — город.

Я держусь за шкот и налегаю на руль, — лодку воротит все в одну сторону. Со всех сторон несется однообразный шум тяжело катящихся в одном и том же направлении волн. Но среди этого все покрывающего шума ухо улавливает особенное шипение разрезаемой носом баркаса воды; он неудержимо несется вперед, а бегущая назад пена мелькает мимо бортов.

Чем дальше от берега, тем ветер крепчает. Он с такой силой нажимает на огромный парус, что тот чуть не касается воды; лодка моя идет почти боком. Скверно то, что ветер неровный и налетает порывами. На минуту он ослабевает, и баркас выпрямляется; но

вот я вижу, как вдали нлетающим порывом срывает гребни волн. Становится жутко, я не прочь бы вернуться, но опасно поворачивать: лодку боковым волнением может опрокинуть. Порыв добежал, что есть сипы налег на парус и повалил: баркас лег, вода хлынула через борт. Я судорожно кидаюсь на другой, высоко поднявшийся над водой борт и выпускаю шкот. Освободившийся парус отчаянно начинает полоскать по ветру и хлестать веревками по мачте, по воде, по лодке. Это — спасение: баркас выпрямляется, и лишь мокрый борт да болтающаяся на дне вода свидетельствуют, что могла случиться катастрофа. Надо ухо остро держать. Чувствую, что этой дозы радикального лекарства против нервности более чем достаточно; с каким бы наслаждением теперь сидел я в своей комнате за письменным столом, но о повороте нечего и думать, пока не достигну вон той песчаной полосы, что желтеет впереди среди волн. Когда я буду возвращаться (если только буду), непременно пойду у самого берега.

Да, читатель, если вы чувствуете утомление, если вас угнетают заботы, если наконец вы просто изнервничались, или все вам опротивело, и вы не можете приняться за дело, — прибегайте к этому единственно целебному средству: ступайте на берег, несмотря ни на какой ветер, берите лодку, ставьте парус и.., и в путь! И когда вокруг вас, тяжело вздымаясь, белея пеной, зашумят волны, и лодка, переливаясь, с кряхтением опустится среди расступившихся зеленоватых водяных холмов, а берег, суда, пароходы скроются из

виду и лишь серо небо будет над вами, которое в это время будет казаться с овчинку, если при этом вас не захлестнет волной, не потопит шальной пароход, не разобьет о сваи, не опрокинет налетевшим порывом — одним словом, если, подвергаясь риску двадцать раз утонуть, вы все-таки не утонете и возвратитесь здоровым и невредимым, — о, тогда вы почувствуете себя так превосходно, как никогда в жизни! Все ваши нервные недуги, которые так измочаливают и душу и тело, что человек становится ни на что не годным, как рукой снимет.

И я теперь всем существом своим чувствовал удивительную целебную силу этого средства и молил судьбу только об одном, чтобы добраться до выдававшейся в море песчаной косы, к которой, сшибая верхушки волн, летел мой баркас с такою стремительностью, что мелькавшая мимо бортов пена сливалась белой полосой. Я боялся смотреть через борт: начинала кружиться голова, и слегка тошнило.

Человек привыкает ко всякому положению. Меня теперь уже не так страшили катившиеся навстречу валы. Кроме того с моря к той же самой косе шла рыбацья лодка, и присутствие людей среди этого волнующегося водного простора придавало лишь больше уверенности. Лодка тяжело переваливалась с волны на волну и, видимо, была сильно нагружена; совершенно черный парус ее острым крылом виднелся над волнующимся морем. Мы приближались все больше и больше. Лодка была нагружена рыбой и чрезвычайно глубоко сидела в воде; волны то-и-дело плескали за борт ее.

Мы сблизились настолько, что я мог уже разглядеть сидевшего на руле рыбака — широкоплечего, с бронзовым лицом и широкой черной бородой. Сосредоточенный и спокойный, он держал одной рукой шкот, а другою — руль. В противоположность мне, он не выказывал ни малейшего волнения. Когда ветер усиливался и начинало кренить мою лодку, я начинал суетиться, наваливался на руль, то подбирал, то опу скал парус, вертел лодку в ту или в другую сторону, пока ветер не ослабевал. Он же спокойно держал курс в одном и том же направлении, как ни кренило его лодку, не спуская глаз с желтевшей среди волн косы, куда быстро шли обе лодки.

Только что-то странное было в этом человеке. Очевидно, это был крупный, хорошо сложенный и, должно быть, высокого роста мужчина, и, тем не менее, из-за бортов виднелись только его плечи и голова, хотя борты были очень низки.

На косе на берегу стояла повозка с лошадью, а у самой воды два мальчугана, видимо, поджидали рыбачий баркас. Я до того обрадовался, что наконец добрался до берега, что, не рассчитав, прямо направил на косу; лодка с разбега глубоко зарылась в песок и моментально остановилась. От толчка я вылетел и крепко ударился о мачту. Делать нечего — всякая наука оплачивается, а тем паче кораблехождение. Рыбак же подошел к берегу как-то боком, и его баркас мягко и без толчков сел на песок. Мальчишки подбежали, сдернули полог, прикрывший люк, и стали выбрасывать оттуда рыбу на берег.

Вместо того чтобы просто встать с баркаса, рыбак перевесил через борт голову, оперся руками и вдруг перевалил себя из баркаса наземь. И я увидел на песке человека с одним туловищем, руками и головой: ног у него не было. Опираясь на руки, он потащил свое туловище к повозке, куда мальчишки торопливо таскали рыбу. Я убрал свой парус, снял руль, чтобы не сбило водой, и тоже подошел к повозке.

— Доброго здоровья!

— Здравствуйте.

— Из-под той стороны, должно быть?

— Из-под той.

— Как улов?

— Бог не обидел.

Мы помолчали. Рыбак - калека сидел на песке (если только может человек сидеть без ног) и набивал трубку. Я смотрел на него сверху вниз и испытывал неприятное чувство. Я присел возле.

— Ветер разыгрался, — проговорил я, желая завязать разговор.

— Погода.

Он отвечал односложно и нехотя. У него было то особенное выражение, какое носят на лице горбатые, безрукие, безногие, вообще калеки — выражение постоянного сознания своего несчастья и своей отделенности от остальных людей.

Набив трубку, он обратился ко мне с просьбой дать ему спичек, так как у него коробка отсырела. Я быстро достал и подал, и он, отвернувшись от ветра и пряча огонь меж ладонями, стал закури-

вать. Мальчишки между тем продолжали выгружать баркас.

— Скажите, пожалуйста, — заговорил я, — неужели вы один ходите в море и управляетесь с сетями?

— Хожу и управляюсь. Два парня у меня сейчас на море, вместе с нами сели.

Он продолжал попыхивать трубкой, видимо, не желая продолжать разговор. Но потом вдруг заговорил:

— Это вы насчет того, что я без ног, удивляетесь? Как же, господин, быть? Есть-то ведь хочется каждый день: у меня восемь человек ребят. Был и я когда-то человеком, был не хуже людей, и ни на что у меня страху не было, искушал я господа. Он и смирил меня. Бывалыча, темень ли, ночь ли, мороз ли, погода ли, кто и поопасается — пообождет, а я завсегда впереди всех. Думал так, что веку моего хватит. Ан бог-то укоротил, смирил гордыню. Вот, к примеру теперича — погляжу я на вас: одежда на вас хорошая, все в справности — ну, стало быть, кушаете, как следовало бы, работа у вас чистая, белая, — чего еще нужно? Нет, вы господа искушаете. Давеча посмотрю, посмотрю я на вашу лодку, — вот, думаю, зальет, вот зальет, вот опрокинет: зараз видать — человек ни паруса поставить не может, ни руля дать, а господа искушает. Погода разыгралась, а он в самую погоду, что ни на есть, в самую погоду в море кататься едет. Ну разве не искушение это?

— Позвольте, но разве уж так опасно? Ведь ходят же сотни рыбаков в еще больший ветер в море, и ничего — возвращаются.

— Энто, господин, совсем другая статья. У нас занятия одна, у вас — другая. Нам надо семью кормить, а как ее кормить? А так: ежечасно, ежеминутно смерти в глаза смотреть. И ежели тебе такой предел положен, ты и должен без бахвальства, с простым сердцем итти — и дело делать. Тут погода, тут ветер, тут буря, думаешь, — возворишься али нет, там в море и останешься, а сам идешь и парусом правишь, и засыпаешь сети, и выбираешь рыбу, и чуешь, что сичас жив, а вот и нет тебя... Так-то, положение совсем другое: положено уже нам так. А вот вы господа бога искушаете. Кататься захотел — дождись тихого ветерка, возьми лодочку, тихим манером поезди себе, а не лезь смерти в зубы — она, брат, и сама найдет тебя. Потому это одно искушение и бахвальство. Глядите вы на меня: что я есть теперь за человек? Калека — больше ничего! А ведь и я был человеком. Шестнадцать годов прошло, как я обкалечился.

Он замолчал, поправил трубку и стал глядеть на море. Мальчишки продолжали выгружать рыбу. Лощадь понуро стояла в оглоблях: она знала, что ей долго придется дожидаться.

— Как же это с вами случилось несчастье?

— Да так, господин, от моего, значит, от бахвальства. Жили мы туточки вот недалече, где и теперь живем. Дело было зимою. Приходит ко мне Иван Евстигнеев с кумом своим Спиридонычем. Суседями они были, тут вот недалече и хатки их стояли. Спиридоныч-то теперь покойничек, царство ему небесное. Приходят и сказывают: Федотыч, идем на море,

у Долгой рыбы сказывают, сети не держат — косяк. Глянул я в окно — темь, снег так и засыпает стекло, ветер в трубе гудит, и так мне будто в сердце стукнуло: не ходи, мол. Нет, господа, говорю, не товарищ я вам нонче, дело у меня в городе. Стали они меня усовещать: близко, мол, рукой ведь тут подать, нельзя случай такой упускать, может, за всю зиму не выпадет такого. Облестили они меня, знали, что уж ежели пойду, так не побоюсь, полезу везде. Стала было жена говорить: куда едете, на ночь глядя, — ну, а я говорю, не твоего ума дело, — велел собирать. Обрадовались те, — побежал Федотыч лошадь запрягать, накрыла хозяйка вечерять. Повечеряли, стал я собираться. А погода на дворе кружит, в окно снегом стучит, засыпает. Достала хозяйка бродни, сапоги такие длинные, вытащила их, подала мне, а в это время, братец ты мой, в трубе вой сделался, ровно по мертвому голосил кто. Перекрестилась хозяйка: ишь, говорит, непогодь, люди добрые дома сидят, а вы на ночь глядя нивесть куда идете. Молчи, говорю, упустишь теперь — потом всю зиму локти кусать будешь. Приходит Федотыч, — все, говорит, готово. Помолился я образу, вышел. Так и закрутило меня снегом — лепит глаза. Ну, думаю, ничего, недалече ведь тут, под Долгой переночуем.

Выехали, спустились к морю, вз'ехали на лед — и тронулись. Сначала хорошо было ехать: веники стояли, а потом целиком поехали. Только стал ветер упадать, вывездило. Кругом ровное ледяное поле маячит. Лошаденка трюхает, привалился я к задку в санях,

Укрылся тулупом, пригрелся и стал дремать. Долго ли, коротко ли, — не знаю, только стал мне сон сниться. Снится мне, будто стою я на льду и засыпаю сета в лунку, и будто ноги мои по самые колена вмерзли в лед. И будто испугался я и стал их вытаскивать из льда, и никак не могу вытащить, вмерзают они все больше и больше. Закричал я во сне и проснулся, а ног-то в самом деле не чувую. Кинулся, а это Евстигнейч заснул в санях, навалился и придавил мне ноги. Встал я из саней, кругом снег белеется, совсем вызвездило. Федотыч у лошади чего-то возится, а впереди чернеет расщелина. Посоветовались мы, об'езжать ли али тут переправиться — порешили тут переехать, а то, бог ее знает, куда об'езжать придется — может, ей и конца нету. Достали топоры — особенные такие топоры у нас для льда: узкие, длинные, на длинных ручках, и сейчас принялись за работу. Вырубили у края расщелины четырехугольную глыбу во льду, вывели ее в расщелину и поставили поперек, так что она краями в матерый лед уперлась с этой и той стороны — сделался вроде как мост. Перевели лошадь с санями, поехали дальше; только стало тут трудно ехать. От берега порядочно от'ехали, так тут ветер сильнее был, намело сугробы, и какие были щели во льду, ежели не широкие, замело их снегом и сравняло; стало опасно ехать. Лошадь идет, все ушами стрижет, храпит, боится проступить. Ну, мы тоже рядом с санями идем. Только шла, шла лошадь — стала, стали ее гнать, не идет, крутит головой. Что ты будешь делать? Евстигнейч с Федотычем говорят: ночевать. Загоре-

лось у меня. — Что же, говорю, игратья, что ли, вздумали? Зачем же, говорю, вы меня уговаривали ехать, а теперь на ночевку останавливаться! Завтра, может, приедем — там уже пусто будет, — сами, говорю, знаете, куй железо горячее, час упустишь — потом годом не наверстаешь. А тебе, говорят, ежели голова не дорога, ступай вперед, веди лошадь. Видишь, говорят, как лед поколело, кругом щели, а не видать ничего, все затянуло снегом.

Стало мне досадно: то поспешали как, а то осталось верстов с пять — на тебе, становись. Загорелась пуще у меня досада, ухватил я лошадь под уздцы и повел. Ну, за мной лошадь идет ничего, и те за саньми идут. Иду я, щупаю ногой — везде лед крепкий. — Э, говорю, бабы вы, больше ничего, — садитесь в сани, правьте за мной. Бросил лошадь, а сам пошел впереди. Прошел так, может, с полверсты; вдруг чую — стал лед уходить из-под ног, и я погрузился, как будто в кисель. Не успел крикнуть, как провалился по самый пояс. Чую, как лед мелкими глыбами колышется кругом, хватаюсь я руками за обломки: — «Братцы, пропадаю, выручайте!» — Засуетились те, боятся подходить. Лед-то во время ветра поломало кругом на мелкие части, потом снегом затянуло — так боятся, чтоб самим не провалиться. — Братцы, кричу, не дайте христианской душе погибнуть. Если сами боитесь, так киньте хоть конец веревки. — Кинулись они к саням, стали искать, с перепугу никак веревки не найдут. А нашли — никак не развяжут: руки на морозе замоченели, не действуют. А я уже слабость стал, сапоги

полон воды набрали, — стали тянуть меня, руки осклизаются со льда. Наконец-то распутали, кинули конец, ухватился я, потащили они, а веревка скользит у меня в руках: застыли они, не могут удержать. Выскользнула веревка совсем. — Братцы, говорю, пропал я совсем, не видать мне божьего света. — Выбрали они веревку назад, навязали узлов на конец, чтоб не осклизалась, и опять кинули. Ну, ухватил я за узлы, поволокли они, выволокли меня на матерый лед. Поднялся я, по самый по пояс мокрый, вода бежит, зуб на зуб не попадет. — Что же, говорю, теперь будем делать? — Перво-наперво, говорят, перебраться тебе надо. — Сняли с меня сапоги, вылили воду, портянки выкрутили, выжали хорошенько; обулся я опять. Только, холодно, так всего и колотит меня. — Вот что, — говорят они, — теперича нам тут ночевать, не иначе. Ежели поедем назад, пропадем. Лед-то не стоит, раздается, колется, где и проехали перед этим, теперь не проедешь, а не видать, снегом закрыто, провалишься совсем с лошастью и санями. Надо переждать, а утром поедем. — Нет, говорю, не дело вы рассказываете. Ежели мы останемся тут, все равно мне замерзать, весь я мокрый, а мороз-то, гляди, какой! Боитесь вы ворочаться, так я сам один пойду, — иначе пропаду я тут... — Ну, они остались, а я перекрестился, пошел назад. Сначала бежал, что есть мочи, чтоб согреться, а потом стал задыхаться, — тише пошел. Мороз все крепчает, поземка потянула, стал ветер резать мне лицо, руки, знобить всего. Куда ни глянешь, синяя морозная ночь, и небо все горит, а по льду тянет и ше-

велится белой пеленой поземка. Сначала я все приглядывался, опасался, обходил подозрительные места, как бы не провалиться. А мороз все больше да больше знобит. Стала мне тоска в сердце западать, оглянешься, — один, кругом лед, над головой ночная морозная мгла, и сквозь нее звезды горят. Чую, стал я заколевать. Ноги в ступне уж не сгибаются, как колоды передвигаю, как два полена, уж и не слышу их. Тронул руками — лед до самого колена, замерзли мокрые портянки, шаровары и сапоги сделались, как кол, и примерзли к ногам. Вспомнил я свой сон и как в трубе покойники выли, и потемнело у меня в глазах, захолонула душа, пришел конец. Перестал я остерегаться и напрямки пошел, поволок свои ноги, как деревянные. Провалюсь — один конец, все одно замерзать мне тут. Должен бы и берег быть, — не видать: все так же пусто, все так же морозное небо спускается к темному краю льда, и кругом сумно, и тянет низом поземка. Покаялся я господу во грехах всех, перебрал в памяти детишек, жинку жалко стало, и, видно от морозу, слезы стали намерзать на ресницах. И стал у меня звон в ушах, будто собаки воют, а в глазах огни, и люди где-то разговаривают. Ну, думаю, вот и смерть, — замерзаю и не могу уже поднять ног. Опустился я на лед и никак с мыслями не соберусь: хочу думать о том, как я один на льду и что ночь кругом и мороз, а перед глазами то будто день начинается, то будто в гостях сижу. Потом стало все перепутываться и потемнело.

Не знаю, сколько прошло времени, только слышу, как теплота по телу разливается. Открыл глаза, а я в своей избе, людей много в хате, жена голосит, а ноги у меня спущены с кровати совсем в сапогах, как есть, в кадушечку с холодной водой, чтобы оттаяли. Наши рыбалки недалеко от берега сети осматривали, наткнулись на меня и принесли домой. Призвали фершала,- пришел он, велел снять сапоги. Как стали снимать, так свету божьего я не взвидел, будто кожу с живого сдирают. Так и не сняли, дюже ноги уж распухли. Пришлось разрезать сапоги. Как разрезали, открыли, так все и ахнули: ноги-то черные, как чугуны, аж сизые. — Ну, — говорит фершал, — плохо его дело, везите, говорит, его в больницу. Привезли в больницу, а там доктора и отрезали их по самые корешки. И стал я калекой вот уже шестнадцатый год!..

Он замолчал. Мальчишки вытаскивали из лодки последнюю рыбу.

— Кончили, што ль?

— Кончили.

— Воды много в лодке?

— Есть.

— Вычерпайте зараз.

Мальчуганы забрались в лодку и стали черпаками выбирать грязную с рыбьей чешуей воду, мерно плеская в море.

— Эй, господин! — продолжал рыбак. — Конечно, молодой я был, ловкий, жить хотелось; ну, да что же делать, — судьба, видно, такая. А вот после меня

несчастье так накрыло, так вот четвертый год, а я опамтоваться не могу.

И он вдруг отвернулся и странно засопел, усиленно затягиваясь трубкой, в которой давно уже не было огня.

— Сын у меня помер... Не помер, а потонул, и все оттого несчастье произошло, что у меня ног не было. Будь ноги, был бы жив мой сынок, мой Ванюша.

И он опять отвернулся от меня и стал смотреть в даль, где вздымались тяжелые волны. Чайки с криком носились над водой, то-и-дело падая вниз и касаясь волны крылом. В серой дымке вдали виднелся город. Не знаю почему, но только то возбуждение, которое охватывало меня, пока я ехал сюда, возбуждение близкой опасности, удали и сознание необычайной обстановки, которою хотелось стряхнуть свое будничное усталое настроение, прошло.

— Как же это? Зимой тоже затерло его?

— Нет, кабы так, что же делать? — значит, воля божья. А то на глазах, вот, возле меня утонул. Ставили мы с ним сети под той стороной. Хороший улов попался, полон баркас нагрузили, почти до бортов вода доходила. Ну, под вечер пошли домой. Ветер стал подыматься, волна пошла. Ну, пока ничего — держимся, а как вышли в самое «корыто», — середка моря у нас так называется, — крупная волна пошла, стала хлестать через борт. Вижу я, не дойдем так. — Ванюша, говорю, скидывай рыбу; и жалко, а нечего делать, — не то зальет. — Эх, батя, говорит, сколько трудов положили, когда дождемся такого улова, — буду я отливать воду из лодки, бог вынесет, дойдем...

И стал он черпать воду и отливать. Я уже и не стал заставлять его: тоже ведь жалко. Сколько трудов, и ведь это не то, что пошел, покосил в степи али в саду нарвал, — тут работай, а смерти не забывай, и иной раз месяц и два бьешься, из кожи лезешь и ничего нет, а семейство ждет, долги, справа, одежда нужна; ну, как дождешься улова, не знаешь, как и бога благодарить. Вот и тогда покорыстовался я, не сказал ему, чтоб непременно рыбу повывкидал, ат бог-то и наказал. Волна стала захлестывать, стал баркас все ниже и ниже садиться, видим мы, что погибаем. Закричал Ваня: «Батя, выкидать надо!» И стал он выкидывать назад в море рыбу, да уже поздно было: пришла волна и накрыла баркас, и не успели мы опомниться, как прошла у нас над головами. Стал я захлебываться, стал со смертью бороться. Вижу: всплыл бочонок с пресной водой, воды в нем немного осталось, пробка туго забита, так он плавал. Ухватился я за него, сердце у меня колотится, стал Ваню искать, а он сажени за полторы от меня тоже со смертью борется, соленую воду глотает. Сапоги у него набрались водой, тянет его ко дну. — Батюня, говорит, тону я, мочи моей нет, не удержусь, говорит. — Ванюшка, кричу, соколик ты мой, продержись, продержись ты на воде, сейчас, сейчас я до тебя доплыву. Эх, кабы ноги, кабы ноги-то! Не вижу, не разберу перед собою, — слезы ли, али соленой водой заливают глаза, — одной рукой только огребаюсь, другой за бочонок держусь. Вижу, не удержит нас двоих бочонок, — мал-то он больно, да и вода-то в ём. Думаю, только бы доплыть,

доплыть бы только до него: как ухватится, выпущу, думаю, бочонок, перестану держаться, мне бог отпустит грехи, а Ванюша ребят прокормит. Вот уже доплываю, вот он, вижу — лицо у него побелело, захлинается водой, и глянул он на меня, все перевернулось у меня: — «Ванюша, Ванюша!» — Рванулся я, доплыл, а его уже нету, — одни волны кругом. Как закричу я не своим голосам, соленая вода в горло заливается, огребаюсь, плаваю кругом, оглядываюсь, забелеет на воде, кинусь, а это пена; не помню, как взяли меня на английский пароход; два месяца пролежал в горячке. Кабы ноги, был бы сынок живой!

По загорелому, обветренному морщинистому лицу рыбака текли слезы.

Мальчуганы, окончив свое дело, стояли возле с открытыми, смелыми лицами рыбаков и слушали отцовскую эпопею, которую они знали, как свои пять пальцев.

— Всю рыбу выбрали?

— Всю, батя.

— Ну, ступайте домой, к вечеру завтра будем.

Пусть хозяйка хлебу заготовит. Прощайте, господин.

— До свидания. Счастливого пути.

Он уперся руками и потащил свое туловище, оставляя на песке широкий след. Добравшись до лодки, он опять с помощью обеих рук поднялся до борта и перевалился в лодку. Методически, неспеша, расправил он парус, потянул шкот и взялся за руль. Мальчуганы дружно столкнули лодку, и она, подхваченная ветром, покачиваясь, кренясь, смело и легко пошла, обгоняя

волны, в даль, делаясь все меньше и меньше. Скоро над волнами виднелось лишь острое крыло ее, потом она на горизонте мелькнула черной точкой и окончательно исчезла.

Мальчики уехали. Кругом никого не было; лишь чайки попрежнему летали берегом. На песке виднелись колеи от колес, а у воды прыгало несколько маленьких рыбок, выброшенных из лодки.

Я кое-как стащил свою лодку, поднял парус и тихонько пошел у самого берега к городу.

СТЕПНЫЕ ЛЮДИ

I

В Предкавказьи свирепствовала чума на рогатом скоте, и, чтобы не пропустить эту страшную эпизоотию дальше на север, поставлен был кордон, растянувшийся на много сотен верст, с ветеринарными пунктами, через которые только и разрешалось прогонять гурты скота после осмотра его ветеринаром.

Казак Иван Чижиков с двумя товарищами служил в кордоне на посту у «Соленого колодца». Служба была не трудная, но скучная и томительная. Кругом на сотни верст ни жилья, ни поселения, ни хуторов. Голая солончаковая степь тянется без конца и края с бугра на бугор, по балкам и оврагам. Вдали зачернеет кибитка, разбитая калмыками-табунщиками, да пройдет косяк степных лошадей.

По целым дням лежал Иван на спине под шалашиком из бурьяна, где было нечем дышать, но, по крайней мере, не палили прямые лучи солнца, лежал, подложив руки под голову, подняв колени, рассеянно без слов мурлыча песню, или курил цыгарки из горькой

сухой травы за неимением табаку. Соскучившись лежать, Иван подымался, медленно, методически снимал с себя рубаху, порты и, оставшись в чем мать родила, садился на корточки и начинал разглядывать на свет свое серое от грязи и пота белье. Он разглядывал, разыскивая и убивая насекомых, серьезно, сосредоточенно нахмурившись, точно читал трудную и вместе увлекательную книгу. В шалашик заходили и два другие казака, так же молча раздевались, присаживались на корточки и так же начинали охотиться, лениво перекидываясь отрывочными фразами.

Изредка казаки шли к колодцу, доставали воды и начинали стирать осторожно, чтобы не разлезлось, свое белье. Солнце немилосердно палит, но голое общество, сидя на корточках перед колодцем, сосредоточенно продолжает свое дело.

— Братцы, рассказывают, нам нового ветеринара пришлют.

Казаки некоторое время молча продолжают стирать.

— Брешут... давно говорят, а он все тут живет!

— Рассказывают, кубыть, непорядки за им открылись: даже уж шкуры дерет со скотопромышленников.

— А он, что ж, думаешь, дерет на себя одного, что ли? Посылает, кому следовало.

— Этот чорт, по крайности, хоть ругается только, а другого пришлют, так под суд пошлет. На Белоглинском кордоне двух казаков под суд отдали.

Снова молчание. Спины становятся под солнцем красными. Вымыв белье, казаки растягивают его по

бурьяну, и солнцем мгновенно высушивает. И опять нечего делать; все так же простирается палимая солнцем степь, так же высоко стоит белесовато - мутное небо.

Но большей частью казаки убивают время сном. Опят по целым часам, по целым дням, тяжело раскинувшись по земле с побледневшими влажными лицами, открытыми ртами, и надоедливые мухи ползают и сосут хоботками в углу глаз, в носу, во рту, заставляя беспокойно мычать и стонать спящих. Спят казаки, и снится им станица, раскинувшаяся по горе. Внизу Дон с косами, песками, заливчиками, паром неспеша тянется по канату; на той стороне перелески дубового леса, луг, озера, мочежины. В станице свое хозяйство, базы, скотина, широкий двор, куры, ребятишки, баба... вся жизнь, полная привычного хозяйского уклада. Но почему-то они не пользуются этой жизнью, в которой только и есть смысл, а проводят день за днем среди безделья, одиночества и изнуряющего зноя. Почему? Ответа не было, а вместо того — кто-то наваливался на них, и они в изнеможении, не будучи в состоянии проснуться, неподвижно лежали с тяжелым храпом, и мухи ползали по иссохшему рту и щекотали в носу. А кругом все тот же зной над иссохшей, истрескавшейся степью, то же побелевшее от жары небо, то же безлюдье; однообразие.

Иногда на казаков нападало беспричинное озлобление, и они с ожесточением начинали ругаться по самому малейшему поводу и без всякого повода.

— Эй, дьявол конопатый, почему на место не ставишь ведро?

— Да ты што за цаца? Не можешь лишнего шага ступить? — сразу принимая вызывающую позу, оставливается небольшого роста с веснушчатым лицом Чижииков.

— Я те так ступну, аж жарко станет!..

— Мне и так жарко, — вон рубаха взопрела... так тебя и вот как!

Отборные скверные ругательства повисают над степью. Казаки изощряются в сквернословии, как виртуозы.

— Да ты што... ты грозить, што ль?.. — и Блинов подходит к Чижиикову с угрожающе сдвинутыми бровями и толкает его.

— А ты што, бить? — говорил тот в свою очередь, придвигаясь к Блинову, и слегка сует ему кулак в живот.

Пот льется с обеих; воспаленные от зноя глаза лихорадочно блестят, и солнце немилосердно жжет черные, точно обугленные и теперь возбужденные влажные лица...

— Бугай!!.

Это, повидимому, невинное слово является искрой в пороховом погребе: Чижииков кидается на Блинова, и они начинают бить друг друга кулаками, тяжело дыша горячим, обжигающим воздухом, приговаривая отрывистые угрозы и ругательства.

Каждая станица носит какую-либо кличку, которая, как бы она невинна ни была сама по себе, считается очень обидной. Достаточно казаку сказать: «сургуч», «рак», «каланча», «в церкви сом оценился»,

«в чемодане попа удушили» и проч., чтобы он полез с кулаками. И это вовсе не от злобы, а скорее по традиции.

В станице, где жил Чижииков, в давно прошедшие времена как-то ожидали приезда архиерея. Это было большим событием для патриархальной станицы, где все без исключения граждане ложатся с курами и встают с петухами, где на улицах, густо поросших колючкой, лопухом, репейником, с заходом солнца не встретишь живого человека, где отдаленность событий измеряется ярмарками и стрижкой овец. С самого утра бабы и девки в уродливых ситцевых кофточках, пестрых ярких юбках, щелкая семечки, казаки, старые и молодые, в мундирах, в «чекменях», в форменных фуражках, — все поглядывали на уезженную, пыльную дорогу, которая подымалась за станицей на гору, заслонявшую горизонт; но там никто не показывался. Нащелкали груды семян, шелуха которых белела по всем улицам, немало выдали в ожидании водки, а архиерея нет как нет. Наступил вечер, всех утомило напрасное ожидание, как вдруг на горе по дороге показалось большое облако пыли. Измученные долгим ожиданием часовые-добровольцы кубарем скатились с колокольни и бросились оповещать народ, что показался архиерейский поезд. Все кинулись за станицу, взволнованные и торжественно настроенные, зазвонили в церкви, старики вышли с хлебом-солью, а молодежь стала палить из ружей. Но когда клубившееся по дороге облако подошло ближе, все увидали, что это было возвращающееся с поля стадо, и шедший

впереди общественный бугай в избытке силы и страсти рыл землю копытами и рогами, подымая облака скрывшей его пыли. Добровольцев-часовых жестоко побили, хлеб-соль с'ели, и все с горя напились.

Имел ли место в действительности такой случай или нет, — неизвестно, но только с незапамятных времен достаточно было самому почтенному гражданину этой станицы сказать: «Ну, как бугая встречали?» — чтобы привести его в ярость. Напоминание об этом событии, брошенное Блиновым, послужило непосредственным поводом к бою.

Третий казак, не принимавший участия в ссоре, бросился на обоих противников и, чтоб восстановить нарушенный мир, стал, сверх'естественно ругаясь, награждать кушаками того и другого.

— Дьяволы!.., белены об'елись!..

Но обозленные бойцы кинулись на умиротворителя и начали совместно и беспощадно бить его, пока наконец все трое, изнеможенные, избитые, задыхающиеся, не остановились, продолжая еще некоторое время переругиваться и укорять друг друга, потом пошли к колодцу, промыли раны, замыли кровь и сели чинить разорванные рубахи.

Вечерело. Степь терялась в сизой мгле. На очищенном небе понемногу высыпали звезды. Хотя степь до самой зари не могла охладиться от поглощенного за день жара и остывала, как стынущая печь, это было единственное время, когда можно было дышать. Казаки сидели около колодца, возле телеги дымились кизяки, и над ними кипел котелок с пшеном.

Чижилов, охватив руками колени и положив на них подбородок, глядел в темнеющую степь одним глазом: другой у него весь заплыл сине-багровым кровоподтеком. Блинов лежал на боку, вытянувшись по жесткой земле длинным телом и тяжело сопя разбитым и вспухшим, как большая груша, носом. Умиротворитель на корточках мешал в котелке тихо кипевшее пшено, и, когда сквозь пепел тлеющего кизяка несмело пробивался огонек, он, дрожа по земле колеблющимся кружком, робко освещал склонившееся над котелком все в фонарях и ссадинах лицо кашевара.

Казаки не держат зла друг на друга. Как только прошел первый пыл боя, опустился вечер, кузнечики завели свою тонкую сверлящую песенку, стало легче дышать, и в котелке, поплескивая, начала кипеть каша, — у заброшенного среди степи колодца снова наступила тишина и спокойствие.

— Да-а... пришел брат из Петербурга, — рассказывает Блинов, все так же лежа на земле и подперев голову рукой, — ну, на радостях выпили, почитай, целую неделю гуляли, а ее не позвали. Народ гуторит: «Глядите, не позвали гулять, наделает она вам делов». Ну, брат смелый был: — А, говорит, штоб ей сдохнуть! — Глядь, а она тут как тут, глянула только на него глазами, ну, ничего не сказала. Хорошо. Об Рождество у кума Прокопия гулянка была, брат был, и ее позвали. Сидят за столом, так брат, и так, супротив, — она. Вот брат только рюмку ко рту, а она так вся и упулится. Брат и отставит рюмку, брешешь, — не влезешь! Только она отвернется, брат

скорей за рюмку, а она опять тут как тут, шею вытянет, — брат опять отставит, так до трех разов. В четвертый не утерпел: сразу рюмку к роту, только стал опрокидывать, а она в рюмку шмыг! Он совсем с водкой и проглотил...

— А-а!.. вишь ты!.

— Ну, в горнице этого никто не заметил, а брат-то знает, што в ем сидит, да молчит, потому все одно уж не поможешь... Жарко в горнице, несть числа жарко, народу, страсть, набилось, и выпили все здорово. Вот вышел брат просвежиться. На дворе мороз ядреный, вышел он, лег и стал кататься по снегу. Просвежился немного, а его как колынет изнутри. Он аж закричал: «Ой, што ты?» А она: «Посулил мне издохнуть, сам высохнешь». Ну, он пошел в горницу, напился в лоск. С тех самых вот пор и стал сохнуть, кашляет, одни мослы остались. Пришло лето, собрался раз брат на бахчу поехать, запрег маштака в дроги и поехал. Дело было к вечеру. Пока то да се, выехал, и ночь. Едет, темно, только-только што дорога при звездах маячит, глядь, а наискось от дороги белое. Конь полыхнулся, храпит, ушми сторожится, нейдет. Вдарил коня, конь дернул, а она — сиг к нему на дроги! Глядит брат, диковина! то конь легко бег, дроги легкие, на железном ходу, а то по щетку ногами в землю уходит, как в лесок, кубыть сто пудов везет, весь вытягивается, ажно пар с него пошел. Чует брат, она позадь его на дрогах сидит, а не смеет оглянуться... Вот оглянулся, а у нее глаза, братцы мои, висять...

Рассказчик замолчал, поднялся и сел. В темноте неясно виднелись неподвижные фигуры слушателей.

— Ну?

— Тут брат память потерял. Нашли его на другой день в буераке, лежит без памяти, возле конь стоит... И, братцы мои, диковинное дело: конь у брата вороной был, добрый конь, прямо сотню хочь сичас за него; глядим, а он весь побелел, в мыле, шатается...

— С натуги, стало быть...

— И за своего коня не признаешь, хочь шкуру с него сымай... А на брата, как глянули, а он весь седой... Недолго, сердешный, маялся: через неделю закопали...

Кузнечики и сверчки попрежнему сверлили воздух. Степь безмолвно и неподвижно простиралась в темноте. Вверху горели звезды. Кашевар сплеснул сбегавшую пену и снял котелок. Все трое уселись вокруг, достали деревянные самодельные ложки, хорошенько облизали их и стали носить кашу из котелка в рот, поддерживая ложку куском черного хлеба.

— Где же она теперича?

— Да там же, на хуторе.

— Чего же вы так?

— Да што ж с н е й сделаешь? Возьмись за н е е, так все семейство перепортит.

Казаки едят некоторое время молча, с шумом втягивая губами воздух с горячей кашей.

— Теперича моя-то баба ждет, не дождется, такая ее мать, — заговорил Чижиков, — письмо, небось, получила, — и он крепко выругался, выражая удовольствие, что скоро увидит семью, родных, знакомых, хо-

зййство, знакомые места, и наконец прекратится эта постылая жизнь в степи без дела и с постоянной думой о хозяйстве, которое день ото дня расшатывалось и хирело.

— Гляди, она тебе подарок приготовила.

Казаки засмеялись. Чижииков потемнел и насупился.

Звезды лопрежнему горели в темной вышине, одни подымались все выше и выше, другие спускались и пропадали за темным краем степи. Долго разговаривали казаки о ведьмах, о порче, о хозяйстве, о службе, о бабах, пока наконец не посветлело в одном месте небо, и в степи не стало виднее.

II

Единственным нетерпеливо и долго ожидаемым событием, разнообразившим монотонную жизнь казаков, был прогон гуртов скота.

Вот на самом краю что-то зачернелось, шевелится и расползается по степи. Ближе, ближе... Видны уже конные на исхудалых, измученных лошадях с длинными, как змеи, ременными бичами, которыми они громко щелкают в воздухе, и рогатые головы крупного черкасского скота. Конные раз'езжают по степи, подгоняют отстающих, бьют бичами и сердита покрикивают охрипшими, надорванными голосами:

— Ребята, гурт!..

Казаки вскакивают, как от электрической искры, высыпают из шалаша и, прикрыв ладонями глаза

от слепящего солнца, жадно всматриваются в подходящий гурт. Подъезжают конные, приподнимают шапки.

- Здорово, дневали!

- Доброго здоровья!

- Н-но и жарко, мочи нет.

- Тепло... Это откеда же гурт гоните?

- Это, милый человек, из благополучных местов.

- Оно и видно из благополучных: вон сивый бык к вечеру протянет ноги.

- Что ты! Что ж мы себе лиходеи, что ли: один бык заболел, все стадо пропало.

- А как ежели благополучно, так гоните через етеринарный пункт, потому нам строго - настрого не приказано пропускать скот.

- Нельзя ли у вас маленечко отдохнуть в шалашике?

- Пожалуйте!

Скот стоит, понунив голову. Гуртовщик слезает с лошади, отирая катящийся с лица пот и расставляя ноги, потом согнувшись пролезает в шалашик. Казаки пролезают за ним. Появляется водочка.

- Ну, как по газетам слышно, как теперича агличанка?

- Англичанка теперя молчит, а вот будто Китай подымается. Пожалуйте по рюмочке! Как же, господа честные, с гуртом будем?

— Да абнакновенно: к етеринару.

— По пятачку с головы?

— Как возможно! Мы присягали.

— По рюмочке пожалуйста!.. По шесть копеек, вот как перед богом.

— Покорно благодарим. Беспременно на пункт вам гнать придется.

— Милости просим... Вот мать пресвятая богородица, чтоб не сойти мне с этого места, одна рубаха на плечах осталась... Семь копеек...

— Мы душой рады для хорошего человека, — для хорошего человека отчего же не сделать?.. Главное, присягали, присяга... Опять то сказать: себя оберегаем, потому вы прогоните гурт, станет, упаси господи, скотина падать, а у нас там хозяйство, своя скотина. Опять же етеринар... и не увидишь, наскочит глазастый дьявол, как чорт ему говорит...

Долго в шалашике слышится: «по рюмочке... покорно благодарим... главное, присяга... потому для доброго человека»... Наконец, и гуртовщик и казаки вылезают из шалашика распаренные, красные, как из бани, с посоловелыми глазами. Казаки считают скот и получают по двугривенному с головы. Конные снова раз'езжают по степи, хлопают бичами, и гурт уходит.

В виде разнообразия иногда наезжает ветеринар с пункта. Он с места начинает кричать и страшно ругаться. — Это что такое?.. Да тут гурт целый прошел, следы кругом...

— Никак нет, вашескблагородие! Это прошлого месяца, што на пункт к вашему выскблагородию заворотили который...

— Врете, мерзавцы: следы-то свежие, а через пункт за эти дни ни одной головы не прошло.

— Слушаем, вашскблагородие!—говорят казаки, держа под козырек и прямо и смело глядя ветеринару в глаза с таким видом, как будто хотели сказать: «Хоть режь, а мы не виноваты».

— Сгною в тюрьме мерзавцев!.. Сами себя ведь, подлецы, губите. Дома-то ведь скотина есть? Ведь присягали вы, негодяи, так вас и этак!..

— Так точно, вашскблагородие, есть скотина, потому самому и оберегаем себя... а главное, што как присягали и присяге своей по гроб жисти...

Долго кричит ветеринар до хрипоты и потом уезжает. Казаки провожают его, и их невинные, покорные, безответные лица широко расплываются...

— Ишь расхорохорился, носастый чорт!.. мало загребает.

Казаки знают, что, если ветеринар и не пропу-

скает за взятку без осмотра скота, зато он всегда может на больший или меньший срок задержать здоровый скот и тем причинить гуртовщику огромные убытки. Понятно, что последний предпочитает откупиться.

Ветеринар уезжает, и опять зной, скука, безделье, побуревшая степь, мертвые солончаки, марево и столбы пыли.

Так провел Иван Чижииков свою службу. Наконец подошел срок. Собрал он свои пожитки в сумочку, зашил в тряпочку и повесил на гайтане на шею тридцать

семь рублей сорок девять копеек, собранные им за службу; перекинул через плечо старую шинелишку, сумку, взял пику, помолился и отправился степью.

III

Среди бесплодного солонцеватого, степного пространства, над которым стоит огромное, горячее, мутное небо, виднеется затерянная человеческая фигура.

Куда ни взглянешь, везде истрескавшаяся сухая земля, горький, жесткий полынок, бурые обнаженные плешины глинистых солончаков, на которых ничего не растет. Сухой знойный ветер ходит по степи, и степь курится пылью, как пожарище. Уходя верхушками в молочное небо, ходят, крутятся, черные смерчи. Мелкая едкая горячая, иссушающая пыль лезет в рот, в нос, в уши идущему человеку, покрывая серым налетом волосы, исхудалое, почерневшее от загара лицо, по которому ползут, мешаясь с грязью, капли пота, старую шинель и холщевую сумку, перекинутые через плечо, форменную казачью фуражку на голове, засаленную и затрепанную, и короткую черную пикку с сияющим на солнце острием.

Зной струится и колеблется над буграми. Неутолимая жажда мучает и палит. На самом краю степи вдруг показывается длинной полосой вода, неясные силуэты деревьев, ветряных мельниц, строений, маня к себе покоем, отдыхом и свежестью. Немного погодя, эта светлая полоса воды отделяется от горизонта вместе с силуэтами деревьев, подымается, держится не-

которое время на воздухе, тает, и опять везде одна голая, сожженная, безлюдная степь.

С усилием передвигает казак побуревшие от солнца, от горького полыня сапоги, то-и-дело перекладывая с плеча на плечо шинель, сумку и пику, и оттирает калящийся с лица пот.

Идет он уже второй день. Второй день его немилосердно палит солнце, обжигает горячий ветер, ест пыль, и кругом, насколько глаз хватает, курится, как пожарище, степь.

«Приду домой, перво-наперво полведра старикам, ребятишкам гостинцев, бабе платок...» При воспоминании о бабе лицо у Ивана раз'езжается... «Н-ну... да-а... Полведра четыре рубля пятьдесят копеек... Избу в нынешнем году перекрыть бы... пару бычков... молодых дюже надо прикупить...» Как наяву, стоят базы, навесы, плетни, скирды.

Он вздыхает, останавливается и оглядывает степь: сизый полынок, горелая изжелто-бурая трава, между которой сквозит потрескавшаяся земля, обманчивое марево и одинаковая, однообразная степная даль. И в этой дали блестит полоса воды настоящей, а не марево. Возле ни деревьев, ни кустарников, ни зелени; берега скучны, пустынные и плоски, белеет на солнце отложившаяся соль.

Иван, изнуренный и усталый, пускается дальше, не надеясь уже когда-нибудь дойти до жилья или до места, где бы можно было передохнуть.

На горизонте обозначилась черная точка. Нельзя было разобрать — человек это, лошадь или бугор. Но

немного погода темное пятнышко обозначилось яснее, стало приближаться, и через минуту Иван разглядел, что это был всадник. Он скакал прямо на Ивана. Иван остановился и стал ждать. Великолепный степной скакун золотистой масти стлался над самой землей. Старая, в морщинах калмычка в синих штанах, с выбившимися из-под шапки жидкими седыми косичками сидела на нем верхом. Проскакивая мимо Ивана, она слегка задержала лошадь, а Иван крикнул ей, махая рукой:

— Эй, бачка, постой! Нет ли баклажки с водой? Смерть, пить хочется!

Калмычка на скаку перегнулась к нему, странно взмахнула рукой; в ту же секунду в воздухе со свистом развернулся аркан, и, прежде чем успел опомниться казак, волосяная петля мгновенно стянула его поперек, туго притянув к туловищу руки. Калмычка перекинула ногу через натянувшийся от подпруги аркан, дико гикнула, и лошадь понеслась карьером. Натянувшийся, как струна, аркан с размаху кинул казака о землю и поволок за бешено мчавшейся по степи лошадью.

Оглушенный, не понимая, что все это значит, казак тянулся и вертелся на конце аркана, как круглое бревно. То он тащился на спине, и солнце сверху ярко било ему в глаза; то перед ним мелькали откидывавшиеся задние лошадиные ноги, развевавшийся хвост и раздувавшиеся синие штаны; то он ничего не видел, тащился, ничком, и иссохшая трава и потрескавшаяся, пылавшая жаром земля сдирала с лица кожу, рвала рубаху, штаны, шинель. Шапка с него

свалилась, пика выпала. Он бился о землю головой, ногами, грудью, спиной, животом, переворачивался, крутился, задыхаясь, не будучи в состоянии крикнуть и теряя сознание.

А старуха с диким воем неслась, подпрыгивая и хлопая босыми ногами по начавшим уже взмываться бокам лошади. Она выкрикивала дикие слова, и горячий ветер трепал ее широкие синие штаны, растрепанные косички жидких седых, выбившихся волос и густую гриву стлавшегося по земле скакуна. Старуха не оглядывалась назад, но чувствовала, как тянулся и дергался у нее под ногами аркан, волочивший за собой казака.

Уже потемнела золотистая шея скакуна, белая пена ключьями летела назад, и сквозь широко раскрытые розовые ноздри вырывалось тяжелое дыхание.

Впереди показалась котловина. Калмычка направила туда лошадь и, опрокинувшись на спину, что есть силы натянула поводья. Скакун закрутил головой и, роняя пену и оседая на задние ноги, с трудом остановился. Сзади неподвижно лежал на конце тянувшегося змеей по земле аркана туго стянутый петлей, изодранный, в лохмотьях, окровавленный человек.

Калмычка спрыгнула на землю, привязала конец повода к передней ноге лошади и, бормоча и выкрикивая что-то, подошла к неподвижно лежавшему казаку. Она схватила его за ноги, с усилием потащила, и голова казака с запекшейся на изодранном, исцарапанном лице кровью безжизненно переваливалась по земле из стороны в сторону.

— Будь ты проклят, волк лютый... издыхай, как собака, и пусть черви сожрут тебе все нутро. И калмычка продолжала тащить казака, часто дыша, и пот, смешиваясь с грязью и пылью, сползал по ее загорелому, темному, как дубленая кожа, морщинистому лицу и падал на открытую такую же дубленую грудь. Калмычка поминала своих детей, свою кибитку, скотину, лошадей... Упоминала про железную дорогу, про больших начальников и лютых волков.

Ей было пятьдесят восемь лет, и она помнила те времена, когда калмыки вольно кочевали со своими кибитками по степям; а теперь их согнали в станицы, предлагают заниматься земледелием и забирают сыновей на службу. Нужно строить избы, справлять сыновей в полк, покупать шинели, мундиры, седла, пики, шашки, белье. Нужно было много продавать, чтобы иметь на все деньги.

Приехал раз купец покупать скот. Калмыки согнали все, что можно было продать: лишних лошадей, баранов, скот. Купец осмотрел, поторговался, поладил, угостил водкой, достал из кармана шестьсот сорок девять рублей тридцать копеек новенькими кредитками, вручил калмыкам, согнал скот и уехал.

Часть денег старуха спрятала, а остальные раздала членам семьи для покупок. Но при первой же расплате калмыков арестовали с фальшивыми деньгами. Долго не могли они взять в толк, в чем тут дело; но когда на требование властей старуха наотрез отказалась возвратить остальную часть фальшивых денег, всю семью посадили в тюрьму. Только в тюрьме

раскусили калмыки, в каком скверном деле их обвиняют, и какую скверную штуку сыграл с ними купец, которого они не знали и не могли указать. Чтобы освободить истомившуюся после степной вольной жизни в тюрьме семью, старший сын старухи взял вину на себя, заявив властям, что это он покупал и потом сбывал фальшивые кредитки; его же мать и братья не подозревали этого, так как не умели различить настоящих денег от фальшивых. Его сослали в Сибирь, а семья разорилась. Двух братьев взяли в полк, младший спился и умер от чахотки.

И вот теперь старая калмычка припомнила все это, волоча за ноги одного из тех, которые пришли и забрали их землю, лишили вольной жизни, разорили, обманули, посадили в тюрьму, забрали детей куда-то далеко, а степь перерезали длинной насыпью, положили сверху железо, поставили столбики и пустили по ней телегу с дымом и огнем. Калмычка потащила казака к краю узкой, круглой дыры. Это был степной колодец, глубокий, полуобвалившийся. Ноги казака, согнувшись в коленях, свесились в черную дыру. Осталось лишь слегка толкнуть его. Калмычка торопливо стала развязывать аркан. Петля, сдавливавшая грудь казака, ослабела, он вздохнул и полуоткрыл глаза. Старуха, не замечая, сидела на корточках и торопливо снимала аркан.

— Восемь вас, девятый будешь... — бормотала она и взялась за его плечи.

У казака волосы стали дыбом. Он собрал все силы и с отчаянием ужаса схватился за калмычку. Не ожи-

давшая ничего подобного старуха дико закричала и изо всех сил стала спихивать его в дыру. Казак посунулся в яму, и земля с шумом посыпалась из-под него. Судорожно прижавшись головой к краю ямы, он цеплялся ногтями за землю и последним усилием опять схватился за калмычку.

Началась борьба.

Они возились на самом краю, задыхаясь, цепляясь друг за друга, отрывая один у другого руки, роняя осыпающуюся вниз землю. Казак почти весь висел над ямой и каждую секунду ждал, что полетит вниз с калмычкой, которая делала нечеловеческие усилия, чтобы оторвать его от себя.

Со страшным напряжением казаку удалось стать коленом на землю. Он сдернул калмычку, и теперь она повисла над ямой... Он отодрал от себя одну ее руку, потом стал отдирать другую. Старуха, чувствуя, что вот-вот она полетит туда, где гниют сброшенные ею раньше люди, закричала, и крик ее разнесся по всей степи. Она кричала и звала своих детей, звала старшего сына, которого угнали в Сибирь, звала двух других, которые далеко служили в полку, звала самого младшего, которого берегла, как свой глаз, и от которого остались одни мослы; она звала их и кричала им, как их родила, выкормила, воспитала.

Но дети не слышали. Стоявшая в двух шагах лошадь, наострив уши, с удивлением глядела на возившихся людей. Степь, попрежнему безлюдная и безжизненная, простиралась под палящим солнцем, даль

дрожала и колебалась от зноя, и ветер подымал степную
пыль.

Калмычка разом смолкла, последним усилием при-
никла к руке казака, и в его тело по самые десна
вошли старые, из'еденные, пожелтевшие зубы. Казак
взвыл от боли и отодрал от груди вторую старухину
руку, в судорожно сжатых пальцах которой остался
клок его рубахи.

— Ты будешь девятая, будь ты проклята!..

Перед ним мелькнули выступившие из орбит круглые глаза, пожелтевшее, как лимон, изрезанное морщинами лицо, синие штаны и грязные, заскорузлые подошвы босых ног... В следующее мгновение черная пустота все скрыла. Из глубины до-
несся звук, как будто в мокрую грязь упало что-то тяжелое. Шатаясь, с дрожащими руками и подгибающимися коленями казак отошел от колодца. Он все еще не мог опомниться. На нем все было изорвано, рубаха, штаны висели клочьями, на руках, на груди, на вспухшем лице запеклась кровь.

Казак подошел к осторожно поведившей ушами лошади. Лошадь, храпя и натягивая головой привязанный к ноге повод, пятилась назад.

— Тпру-у!... тпру-у!... Стой, дьявол калмыцкий!...

А и конь важный! За такого коня две сотни зараз клади, а то и все три... Тпру-у, окаянный!..

Он отвязал повод от ноги и любовался великолепным скакуном, который танцуя ходил вокруг него.

— Нет, нельзя... увидят калмыки, убьют... По крайности, хоть подушонку да подпругу взять... Тпрурру!.. стой, милай!..

И он, поглаживая коня, расстегнул подпругу и снял с лошади старенькую, никуда не годную, плоскую, как блин, подушонку, из дыр которой лезла шерсть.

— Все дома пригодится.

Потом закинул на шею лошади повод и гикнул. Лошадь шарахнулась, понеслась по степи и через минуту скрылась из глаз.

Казак подошел к колодцу, послушал, поглядел в черную пустоту, — у него шевельнулось тайное желание, чтобы старуха подала голос, и ее можно бы было вытащить; но там было все неподвижно и тихо. Он подобрал подпругу, взял подмышку и пошел по тому направлению, по которому тащила его калмычка. Пройдя несколько верст, он нашел сумочку, пику, шапку, шинель. Запихав в сумочку подпругу и подушку, Иван сел на землю, достал из шапки иголку, которая всегда была заколота внутри шапки с намотанной на ней ниткой, разделся и, сидя под горячим солнцем, стал чинить свою одежду. Итти в таком изодранном виде было опасно.

Долго сидел и махал посреди степи длинной ниткой Иван, зашил прорехи, оделся и отправился дальше. Много он прошел, хотелось подальше уйти от рокового места. Вдали зажелтело полотно железной дороги, но Иван не пошел туда, а свернул и пошел стороной. Казалось ему, что первый, с кем он встретится, сейчас же скажет: «А зачем калмычку убил?»

Жар свалил. Солнце уже коснулось края степи. От казака легла через всю степь и шла с ним рядом длинная, косая тень.

Вдруг слышит Иван топот. Обернулся, — скачут к нему два калмыка. У него ёкнуло сердце. Калмыки в форменных казачьих фуражках подскакали и сдержали разгорячившихся лошадей. Один из них сидел на вороной лошади, другой на знакомом Ивану золотистом скакуне. Казак повернулся к ним и, взяв наперевес пику, угрожающе направил на них сверкавшее на солнце стальное острие с таким видом, как будто хотел сказать: «сунься только!»

Но калмыки, сдерживая нетерпеливых лошадей, мирно заговорили:

— Здорова, бачка! Не видал старой калмычки? Лошадь прибегла к кибитке, а ее нет... В хурул ездила.

- Нет, не видал.

— Вот чудно!.. Нет старухи. Всю степь из'ездили, как скрозь землю провалилась...

— Не видал... не знаю... кабы видал, сказал бы... «Вот полезут в сумку — подпругу с подушкой найдут...»

А калмыки постояли еще немного, похурукали между собой, повернули лошадей и поскакали назад.

Казак отер проступивший на лбу холодный пот, положил пику опять на плечо и пошел дальше.

Стемнело. Хотя и высыпали на небе звезды, но в степи было смутно и темно. Казак видел только

темную землю под ногами, да темный край, на который опускался звездный свод; а что было между ними, нельзя было видеть. Слышно было только, как кузнечики сверлили да ночные птицы разговаривали в темноте. Иной раз чудился конский скок. Тогда он останавливался и, придерживая дыхание, прислушивался; но кругом было тихо, одни кузнечики заполняли своим сверлением таинственную темноту ночи.

Казаку становилось жутко. Он теперь не только не боялся калмыков, но желал, чтобы они под'ехали и заговорили с ним живым человеческим голосом. Боялся он, — и кровь стыла у него при одной мысли об этом, — что сначала он услышит конский топот, подскочит к нему всадник, сдержит лошадь, станет всматриваться, а это — старуха на лошади с выпятившимися глазами, с морщинистым лицом, в синих штанах. Чувствуя, как холодеет у него затылок, казак среди молчания и темноты при слабом мерцании звезд шел, не смея поднять головы. Ноги у него подкашивались, но он не осмеливался и подумать сесть. Напрасно он ждал рассвета: все та же темная степь, то же молчание, теперь уже не прерываемое даже сверлящими звуками кузнечиков. Что-то заволакивало небо, потому что и звезды стали пропадать одна за другой. Становилось темно, как в погребке.

Впереди забелелась длинная фигура. Кровь ударила казаку в голову, но он, как очарованный, шел к ней, не опуская напряженно вытаращенных глаз. Бежать! Но разве от нее убежишь?.. Перед ним со страшной

ясностью предстало, как она сигнула на дроги, конь побелел и стал уходить ногами в землю, а у нее вывалившиеся глаза висели по пояс. Белая фигура дожидалась его... Когда он подошел почти с помутившимся сознанием, он разобрал, наконец, что это был длинный солончак, протянувшийся по степи и белевший в темноте. Чижилов в изнеможении опустился на шероховатую, жесткую траву, подложил под голову сумку, возле положил пик и лег, стараясь не смотреть по сторонам. Он не помнил, когда уснул. Ему казалось, что он задремал на несколько минут.

Проснулся он, точно его кольнуло что-то. Он открыл веки: яркий солнечный свет бил ему в глаза. Над ним стояли на лошадях вчерашние два калмыка...

Казак вскочил, как ужаленный, схватил пик и крикнул не своим голосом:

— Не знаю... не видал... не знаю... Чего вы пристали?

— Ты чего кричишь?.. Старуху, калмычку, ищем... Со вчерашнего дня пропала... Чего испужался?..

— Не лезьте ко мне, а то перепорю обоих... и лошадей! — и Иван с побледневшим и искаженным от злобы лицом замахнулся пикой.

Калмыки от'ехали, остановились шагах в десяти и стали о чем-то жарко говорить между собою, показывая плетями на Ивана. Потом ударили по лошадям и уехали прочь.

К полудню Иван пришел на казачий хутор, а через три дня добрался и до своей станицы.

IV

Встретила Ивана жена за воротами и упала ему в ноги. Он понял, в чем дело, взял плеть и стал сечь ее плетью нещадно и жестоко. Она валялась в ногах, отчаянно кричала и молила о пощаде. Всю вспухшую, с заплывшим синяками лицом он оттащил за косы и бросил посреди двора. На другой, на третий, на четвертый день продолжалось то же самое. Наконец казак устал, да и жизнь не ждала, надо было приниматься за работу. Деньги, какие он принес, пропили. Базы, сарай, курень требовали починки, скотину надо было гонять на водопой, на выпас, молотить хлеб, готовиться к пахоте, полоть бахчу, заготавливать на зиму одежду себе и ребятишкам, которые бегали по широкому двору, и среди них маленький кудрявый мальчик, не похожий на Ивана.

Сначала Иван часто попрекал жену, но мало-помалу обида и горе сгладились, и трудовая жизнь, полная бедности и заботы, потекла однообразно, так же, как и до службы.

Прошел год. Настала вторая зима. Корм скоту подобрался — надо было ехать в степь за сеном. Иван запряг лошадь в сани, положил полсть, вилу, краюху хлеба и стал потеплее одеваться, так как на дворе все крепчал мороз. Надел тулуп, валенки, стал надевать рукавицы, поглядел, а они все изодрались — дыра на дыре, нельзя и ехать, руки отморозить можно. Иван стал рыться в старье, чтоб найти обрывки кожи, заплатать рукавицы, да вдруг вспомнил, что на полатях

валяется изорванная седельная подушка, которую он принес два года тому назад, когда воротился с кордона, и забросил на полати. Иван полез наверх, достал подушонку и стал выкраивать из нее лоскут кожи. Из подушки полезла шерсть, и вдруг вывалилась пачка кредиток. Иван оторопел, с секунду глядел на деньги, перекрестился, дунул на них, опасаясь, что это навajдение, потом схватил и бросился из куреня на базы, забился в угол под сарай и стал считать. Денег оказалось пятьсот сорок девять рублей.

Иван не поехал за сеном, а через три дня поехал в окружную станицу на ярмарку. Вдруг открылась масса нужд, которые, оказывается, не терпели ни малейшего отлагательства и которые тянулись из года в год. Надо было закупить овчины для тулупов на всю семью, досок, для пристроя к куреню, пару молодых бычков, арбу и многое множество другого необходимого в хозяйстве. Веселый, хорошо и тепло одетый, немного выпивший, похаживал Иван от одной лавки к другой; купцы его ласково и приветливо встречали, и он наслаждался, чувствуя новое, незнакомое дотоле положение богатого человека, к которому относятся все с почтением. Вечером он пил чай в трактире и угощал откуда-то выросших вокруг него новых приятелей и друзей, как вдруг в трактир вошел урядник с двумя полицейскими и потребовал, чтобы Иван шел в станичное. Иван вытер вспотевшее лицо, расплатился с трактирщиком и отправился с урядникам в станичное. Здесь его сурово встретил станичный атаман:

— Ты что же это, фальшивыми деньгами вздумал торговать?

— Никак нет, вашскблагородие! Иван побледнел, как полотно.

— Врешь! Пять человек купцов приходило и деньги представили.

— Никак нет... не могу знать... — бормотал Иван, все больше и больше бледнея, заикаясь и путаясь.

Ивана арестовали. Через полгода его судили в окружном суде. Он сидел сгорбившись, осунувшийся и поседевший, и слушал прокурора и своего казенного защитника, мало понимая и мало интересуясь их речами. На вопрос, не сам ли он выделял кредитки, он отвечал: «никак нет», а на вопрос, — от кого же он их достал, так же неукоснительно отвечал: «не могу знать».

Когда старшина присяжных после совещания стал читать, виновен ли Иван Михайлов Чижилов, казак такой-то станицы, в том, что... — Ивану с изумительной ясностью представилось, как калмычка кричала и звала своих сыновей, как мелькнули и скрылись в темной дыре ее босые ноги, как он шел по степи, и степь становилась все глуше и темнее, как сначала кричали и сверлили кузнечики, а потом и они смолкли, потухли все звезды, и кругом стояла мертвая, черная темнота, как он заснул, потом вскочил уже при ярком дневном свете и закричал: «Не знаю... не видал... не знаю!...»

— Да... виновен.

На секунду в зале суда наступила тишина. Иван

поднял дрожащую руку, перекрестился, потом поклонился судьям, публике и сделал земной поклон присяжным.

— Покорно благодарю... праведные судьи!.. правильно осудили...

И, обернувшись к председателю с искривленным бледным лицом, по которому текли слезы, проговорил вздрагивающим, прерывающимся голосом:

— Мне бы ее, вашскблагородие, старуху-то, мне бы ее выдернуть оттеда, выдернуть бы оттеда... а я ее... а я ее спихнул... Покорно благодарю... правильно!..

Его присудили к четырем годам каторги.

ИСТИННОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ

Иван Николаевич Коклюхин подошел к столу, заваленному рукописями, вырезками из газет, журналами и с раздражением стукнул о него:

— Э, чорт возьми!

Голова у него трещала, лицо опухло и лоснилось, глаза были красны, как два куска свежего мяса, из-за растегнутой рубахи выглядывала лохматая грудь. Кровать, не убранная и грязная с сбитым к ногам одеялом, стоявшая посреди комнаты, таз с грязной водой, чемодан на полу с бельем, рогожи, сор, штаны, перевесившиеся на стуле и спертый тяжелый воздух, — все слагалось в хаотический беспорядок. На столе среди бумаг и рукописей валялись об'едки колбасы, а из-под стола выглядывала бутылъ зеленого стекла с водкой.

Иван Николаевич работал в провинциальной газете, писал рассказы, вел обзор местной жизни, иногда разражался политическими статьями. Помещал он рассказы из народной жизни и в столичной прессе, в журналах, незатейливые и простые по содержанию, но свежие захватывающие и удивительно яркие.

Жизнь Ивана Николаевича слагалась странно и беспорядочно; он чувствовал себя всегда как на бивуаке, как будто все, что кругом его делалось, это было лишь временно, пока, а там вот наступит н а с т о я щ е е , что-то такое, что собственно и составляет жизнь. Но годы проходили, проходили аилы и молодость, а т о н а с т о я щ е е все было где-то там впереди. Ивану Николаевичу становилось скучно, и в ожидании он усвоил себе один благородный английский обычай: как только возвращался из редакции, сейчас же таинственно закладывал двери на крючок и улыбаясь и хитро подмигивая, на цыпочках подкрадывался к столу, доставал зеленую бутылку и трясущимися руками наливал чайный стакан светлой колеблющейся жидкости. И, когда он выливал содержимое из стакана в себя, кругом все становилось светлей, ярче, веселее и приветливей; сор, рогожи, штаны, кровать, таз с водою — все приобретало оттенок поэтического беспорядка, привлекательного и веселого. Мысли у него бежали быстрее, образы вспыхивали ярче, и перед глазами подымались картины сложных будущих произведений. Радостный, возбужденный, предчувствуя, что пришло т о , и он создаст что-то особенное, небывалое, что поразит всех глубиною замысла, яркостью красок, он бросался к письменному столу, сдвигал в кучу к сторонке все бумаги, газеты, об'еденную колбасу, пододвигал к себе узкие листки чистой бумаги, брал перо, макал его в чернила, наморщивал лоб и устанавливался в одну точку... Но, увы! прикосновение в таком состоянии к перу и бумаге действовало на н е г о

роковым образом: мысли, образы, картины, все исчезало, при всем напряжении он ничего не мог выдать из себя и так и оставался с наморщенным лбом.

— Гм!, нет... надо того... — говорил он себе, лез под стол, доставал «собаку», как он называл бутылку, и снова вдохновлялся.

И опять как будто все кругом становилось светлей, и светлей, и в то же время туманней. И опять он брался за перо, кривил на сторону рот, шурил плаза, подымал брови и собирал кожу на лбу, но туман все усиливался, плавал по комнате и колебался волнистыми слоями и от этого потолок, окна, стол, стулья, пол, кровать слегка ходили по комнате, и мешали его мыслям укладываться на бумагу. Он подымался и замечал, что доски пола плохо держатся на балках и уходят под ногами, отчего он тыкался в стену, в притолоку, кровать, гремел стульями, так что приходилось держаться за все, что попадалось под руку. Это понемногу начинало надоедать и сердить его.

— В сущности, чорт знает, как свет устроен... вообще очень странно... странно и непонятно... впрочем на все надо смотреть с птичьего полета, ибо тогда освобождаешься от материальной зависимости... матери... материала... материалы судьбы... и вообще.

И он поникал головой и тонул в глубине философских мыслей, голова свешивалась, руки касались пола, и в таком положении он обыкновенно замечал под столом «зеленую собаку». И тогда он, ухмыляясь, щурясь и делая ей знаки одобрения, наклонялся к ней и делал рукой усилие взять ее, но она, кокетливо и задорно

приседая, отклонялась назад, и рука его ловила воздух. Иван Николаевич мычал, пялил на нее глаза и, подняв брови, опять приступал к ней, точно это была женщина, своенравная, капризная и шаловливая. Наконец, победа доставалась Ивану Николаевичу, и он, довольный и счастливый, держа «зеленую собаку» в объятиях, трясущимися руками прикладывал ее прямо ко рту, ибо душа его теряла уже меру, и тонул в наслаждении.

В редакции часто за Иваном Николаевичем подымалась погоня. Сидит, бывало, он в редакции за своим столом, хмурый, всклокоченный, смотрит исподлобья и торопливо бегаёт пером по бумаге. Кругом говор, накурено, приходят и уходят сотрудники, посетители, — он ни на кого не обращает внимания и торопливо доканчивает срочную статью. Обыкновенно за ним зорко наблюдают, но стоит только сотрудникам заговориться, отвлекут куда-нибудь редактора, Иван Николаевич незаметно, согнувшись идет к выходу, напяливает шапку, и, если его не успеют изловить до двери, только его и видели. Через четверть часа он уже у себя дома в обществе любезной «зеленой собаки» и начинает блаженствовать.

Но счастье на сем свете, как известно, дается не надолго: через пять минут в двери стучится сторож из редакции и дергает крючок.

— Иван Николаевич!..

Иван Николаевич подымает брови, и вся кожа на его лбу лезет вверх.

— Иван Николаевич, а, Иван Николаевич!

— Кто здесь нарушает покой моей души?

— Да как же вас не беспокоить, коли вы сбежали, а там требуется статья. Это я, сторож Иван.

— А, Иван! так за твоё здоровье.

Сторожу слышно, как за дверью что-то бульбукается, как будто из горлышка бутылки выливается жидкость.

— Иван Николаевич, да рази это можно? Ведь там редактор ждут, серчают.

— Редактор, говоришь?

— Редактор же, говорю, серчают...

— За его здоровье!

И опять за дверьми бульбуканье. Сторож вне себя, дергает и стучит дверью.

— Да побойтесь вы бога, Иван Николаевич, нешто это возможно! што же это такое будет, ведь типография станет, материала не хватает, не поспеют номер завтра выпустить.

— Типография, говоришь?

— Говорю, типография...

— За её здоровье.

«Ах ты, ирод, прости господи!» — бормочет сторож и прикладывает глаз к замочной скважине.

— Иван Николаевич, дите мое родное, хоть ма-ленечко приотворите мне двери, ей богу, только так значит, чтоб нос мог просунуть.

— Нос? ну, нос можно, только один нос, больше ничего.

Слышно, как он ставит под стол бутылку, идет к двери и откидывает крючок,

— Иван Николаевич, пожалуйста зараз, значит, вас просят, в редакцию ждут, статью не дописали, редактор серчают, говорят, что же это такое, говорят, работать что ли не хочет он. Пожалуйста сейчас.

— Эх, Иван, Иван, милый ты человек! Вот говоришь ты, и правильно ты говоришь, урезониwaешь ты меня статью дописать. А зачем она, эта самая статья, тебе? на кой прах она тебе сдалась? что тебе статья, и что ты статье? Ведь мы с тобой только ноготь от ноги, маленькие шестерни от громадной машины; вокруг нас с грохотом и шумом работают валы, ремни, а мы тоже вертимся каждый в своем уголке: ты редакцию подметаешь, а я статью пописываю и... пью.

И он полез и достал «собаку».

— Иван Николаевич пожалуйста в редакцию, ей богу, серчают.

— Постой, Иван, ты не волнуйся, прежде всего всякое положение надо спокойно обсудить. Вот тебе нужно меня привести в редакцию, иначе тебе влетит там, да чего доброго со службы выпрут, не будешь свои несчастные двенадцать рублей в месяц получать, ну, и конечно, семья, ребятишки с голоду передохнут, вот ты меня и уговариваешь, а я, братец, упираюсь — положение затруднительное; но ты спокойней относись, бери меня не сразу за рога — упрусь ведь, а помаленечку, исподтишка. Ну вот я хочу выпить, ты и не препятствуй, ну выпью одну, а там гляди и сдамся, и пойдем вместе в редакцию, и ругать тебя не будут, и статью я допишу. Понял, а?

— Как не понять; понять-то я понял, только вы рада бога не пейте, Иван Николаевич, ей богу, пойдемте лучше...

— Эх, братец, говорю — спокойнее относись к делу.

Иван Николаевич приставил бутыль ко рту и несколько раз глотнул, пуская пузырьки воздуха.

— Ну-ка! — проговорил он, протягивая «собаку» сторожу.

Тот конфузливо обхватил ее обеими руками:

— Что вы, Иван Николаевич, рази можно! Да этого никак невозможно: меня послали, а я значит стану тут пить с вами, никак нельзя.

— Ну, ничего, ничего, один глоток-то можно.

— Да я уж и не знаю, право, — и сторож также конфузливо приложил горлышко ко рту и пустил в бутыль несколько пузырьков.

Через четверть часа сторож и Иван Николаевич, сидя на кровати и держа вместе бутыль, уже обнимались и уверяли друг друга в неизменной и преданной дружбе.

Время шло. По скрипучим ступеням кто-то торопливо вбегал на крыльцо. Иван Николаевич пошатываясь подходил к двери, закладывал ее на крючок и прикладывал ухо к скважине. В дверь раздался стук.

— Кто там?

— Иван Николаевич, отоприте.

— Да кто ты, дух смрадный и злой, дух отрицанья и сомненья?

— Да это я, я, Афанасий Иванович, хроникер, разве не узнаете?

— Гм! это вы. Да где же это вы так набрались?

— Как набрался?

— Да так и набрались, натянулись, значит.

— Да что вы, бог с вами, я только что из редакции, росинки во рту не было, сдал хронику, редактор и просит: зайдите, говорит, к Ивану Николаевичу и вытащите его; дело через него стало, вот я и зашел; впустите же меня.

— Видите ли, впустить вас или не впустить, зависит от того, как вы смотрите на вещи; если вы проникнуты глубоким философским духом, если вы умеете смотреть в самую глубину вещей я впущу вас, если...

— Да послушайте, Иван Николаевич, что же я буду у порога стоять, целовать вашу дверь, а вы будете там философствовать, это совсем не интересно.

За дверьми слышится бульбуканье.

— Да вы впустите меня или нет?

— Впущу, если вы выпьете со мной.

— Ну, чорт с вами, выпью, только отворяйте дверь.

Дверь отворяется, и хроникер попадает в объятия Ивана Николаевича; мокрые, обвислые, слюнявые с запахом водки усы его лазают по лицу хроникера.

— Да убирайтесь вы, чорт знает что такое! А это что?

На полу врасстяжку храпит редакционный сторож.

— Это?... Это брненное тело, вкусившее сладость нирваны.

— Эка, чорт, нажраться успел! Будет же ему!

- Ну, все это так, а мы, голубчик Афанасий Иванович, давайте выпьем.

— Да что-то не хочется, — отнекивается хроникер, который тоже не дурак выпить, — знаете, без закуски, как будто пьяницы.

— Как без закуски! да вот превосходнейшая копченая колбаса.

И из-под вороха бумаг торжественно извлекаются обгрызанные, зацветшие об'едки колбасы; хроникер морщится:

— Гм! колбаса будто того...

— Да что вы! отличнейшая колбаса.

Иван Николаевич достает откуда-то безногую рюмку, наливает ее, и завязывается интимная беседа.

Долго ли, коротко ли они беседуют, только из редакции прилетает сам редактор. Его поражает тишина. Он бросается к двери, которая против ожидания не на крючке, и останавливается в оцепенении: среди хаотического беспорядка комнаты видны три трупа — сторож, разметавшись, храпит на полу, хроникер, осунувшись, сидит у стола, положив голову на колбасу, а виновник торжества, «талантливый писатель», обняв «зеленую собаку», в самой неудобной позе поперек кровати лежит, перевесившись на стул.

Редактор в отчаянии махает руками и уходит. Такие сцены с Коклюхиным повторялись нередко и тем не менее газета дорожила им, и это по двум причинам: во-первых, когда он не пил — это был действительно талантливый и ценный сотрудник, во-вторых, благодаря тому, что он пил, его можно было эксплуатировать.

Сегодняшний день Иван Николаевич чувствовал себя особенно скверно: он пил без просыпу целую неделю, и на него в редакции уже махнули рукой. Этим он был очень доволен, по крайней мере не лезли к нему, но его беспокоило другое обстоятельство: в последние дни по углам его комнаты стали прыгать какие-то крохотные существа; когда он пригляделся — это оказались маленькие зеленые чортики. Что это были чортики, его мало тревожило, но то, что они были зеленые, — почему-то приводило его в беспокойство.

Он потерял свой горячий лоб и обвел мутным взором комнату; оказалось, не только по углам прыгали чортики, да вдобавок еще зеленые, но и стулья, и кровать, и стол слегка приседали, кланялись, когда он проходил возле. Холодная дрожь пробежала по нем: неужели он галлюцинирует или сходит с ума? Допился таки!

Хмелю как не бывало, и он с ужасом стал озираться: боже мой, где же это он, и что это кругом! грязь, пакость, колбаса, водка, грязное белье, неубранная кровать, штаны; перед ним стояла вся его жизнь, беспорядочная, неустроенная, одинокая, печальная. А ведь у него есть талант... был по крайней мере, ведь он мог бы жить, мог бы выбиться, мог бы знать счастье. Где же вы, силы, молодость, счастье!.. стойте... еще не поздно... еще время...

И он торопливо дрожащими руками схватил бутыль, запрокинул голову и стал глотать жгучую, скверную вонючую водку, пока у него не перестало щемить сердце и не успокоилось в глубине души.

В это время дверь неслышно отворилась, и в комнату вошел большой, настоящий чорт и уже не зеленый, а черный,

Коклюхин не удивился особенно и не испугался, а раза два, пошатываясь, прошелся из угла в угол, соображая, что бы это могло означать. Все кругам успокоилось, приняло свой обыкновенный будничный вид; стулья уже перед ним не сторонились и не приседали, а неподвижно стояли на своих местах.

Чорт в сущности не отличался от обыкновенных людей, только лишь на голове у него были небольшие рожки, а сзади из-под пиджака выглядывал черный хвост. Иван Николаевич уселся в кресло, глубоко запустил руки в карманы и, слегка откинув голову, несколько вызывающе и даже как будто насмешливо стал посматривать на своего гостя. Тот пододвинул стул к самым дверцам топившейся печки, так что на нем дрожал красный отблеск раскаленных углей, сел, а ноги вставил в печь, слегка наклоняясь и потирая колена, как человек, собирающийся говорить много и серьезно.

— Не буду объяснять цели моего посещения: она, думаю, ясна.

«Гм! — самодовольно подумал Коклюхин, — искушать пришел».

Но это, должно быть, действительно был чорт, потому что он сейчас же ответил на его мысль:

— О, нет! вы ошибаетесь, в таком случае я поясню.

И он провел рукой по рогам и волосам и глубже засунул обе ноги в горящий уголь. Коклюхин сидел при-
смиривший и сконфуженный, — глупо улыбаясь и ста-

раясь не думать, чтоб тот опять не прочитал его мысль.

— Дело-то, видите ли, в том, что вы глубоко заблуждаетесь, представляя нас такими же, как в былые времена: «Демон», «Мефистофель» давно состарились и потеряли зубы; сатанинство наше кануло в вечность. Система искушать людей, толкать на грех давно оставлена как непригодная. Эволюция, имейте в виду, совершается не только в надземном мире, но и в подземном. Тот роковой процесс нивелирования, который постепенно сливает все нации в одно мировое целое, неумолимо стирая их различия и особенности, уничтожил и наши отличия с людьми, и если мы чем теперь отличаемся от людей, так исключительно только логикой, холодной и неумолимой, и полным бесстрашием перед открытием истинной сущности вещей. Вещи мы называем их настоящими именами, и ставим над і точку, когда у вас из лицемерия, из трусости не хватает на это мужества.

Он приостановился на минутку, откашлялся, поднялся, подобрал под себя хвост и продолжал, слегка поглаживая бородку.

— Повторяю, наша миссия только открывать вам глаза на вещи, на истину, а отнюдь не лгать, не представлять все в извращенном виде, как это мы делали прежде в былые времена, чтобы тем скорее завлечь и погубить человека. Это покажется на первый взгляд парадоксом, но это так, и я это вам докажу. Дело-то в том, что между вами, людьми, идет борьба — постоянная, неустанная, жестокая и беспощадная, вы

душите друг друга и перегрызаете горло, но не просто, а прикрываясь известными внешними формами, прикрываясь и честностью, и принципами, и правом ; для нас же важно эту замаскированную борьбу сделать открытой, голой, чтоб вы перегрызали друг другу горло без всяких прикрытий. Понимаете, мы не вносим нового зла, не бросаем в вашу среду новой борьбы, мы только желаем сорвать с вас маску лицемерия, т. е. мы не и с к у ш а е м вас на новое зло, мы требуем только от вас откровенности и прямоты. Не правда ли, эта деятельность ничего не имеет общего с нашей прежней деятельностью? Ну-с, так вот относительно вас.

Чорт опять откашлялся и слегка поправился на стуле, всунув еще дальше ноги в уголь.

— Вы только что сейчас пришли в отчаяние оттого-то, что уходят ваши силы, молодость, уходит жизнь, что вы не знали счастья, любви, вы думаете, что это потому, что вы пьете? Нет, вовсе не потому, мало ли людей пьют, и живут себе припеваючи, не называя вещей их настоящими именами. Не пугайтесь только, пожалуйста, того, что я вам говорю. У вас есть талант, эта штука ценится, ну и продавайте его тому, кто дороже даст, поняли? не прикрываясь разными там направлениями и тому подобными вещами, и вообще смотрите проще на жизнь...

Коклюхин тяжело поднялся и качаясь стал ходить по комнате; мысли бурным потоком kloкотали в его мозгу. Что если в самом деле он сам упустил жизнь, что если в самом деле на эту жизнь надо смотреть проще, что если она действительно представляет лишь

голую жестокую борьбу, в которую лишь глупцы вступают с разными принципами! И острое чувство сожаления охватило его, но в это время он поднял глаза и увидел такую отвратительную, подлую, отталкивающую образину, которая скалила на него зубы, что бешенство закипело в нем. Он схватил свою бутылку и со всего размаха хватил ею чорта по голове. Но тот был ловок, проворно увернулся, бутылка ударилась о стул и вдребезги разлетелась.

Когда вошли люди, Коклюхин корчился на полу, залитом водкой, в комнате стоял чад, возле печки тлели, прожигая доски, уголья.

Врачи говорили, что Коклюхин заболел белой горячкой от пьянства, на самом же деле это были последствия посещения скверного гостя, который, между прочим, второпях вытаскивая ноги из печки, выронил несколько угольев и едва не спалил дом.

ВОСПОМИНАНИЯ

(Из жизни аптекарских учеников)

Приходила к концу постылая пятнадцатичасовая работа, кончался обычный унылый, монотонный день, наполненный все одним и тем же: все тот же провизор, те же вечные его придирки, та же взаимная грызня учеников между собою, то же отсутствие отдыха, все та же тяжелая, мучительная, медленно высасывающая жизнь обстановка, к которой так привыкли и которую так ненавидели ученики.

Через час аптека запирается, и все свободны, за исключением дежурного; публика уже редко заходит; ученики то-и-дело посматривают на часы: последний самый долгий и трудный час.

Ветлин, старший ученик, вышел на улицу, сел у входа на скамью и хмуро стал крутить папиросу: он оставлен без выхода на следующее воскресенье. Это значит четыре недели не видать света божьего и дышать приторной, насыщенной лекарствами, атмосферой. Он зажег папиросу и, глубоко вздохнув, затянулся.

Вышли и другие ученики и расположилась на лавочке у входа поболтать и отдохнуть на свежем воздухе после трудового дня.

Ночь была тихая и теплая. Звезды, ярко выступившие на темном небе, неровно мерцали, играя перебежавшим отблеском; на улице было пусто; фонари задумчиво горели, уходя вдаль сходящимися линиями. Никому не хотелось идти наверх. Эта звездная августовская ночь, гул затихавшего города и свежий ночной воздух навевали особенное непривычное настроение.

— Да и скоро, братцы, время идет, — проговорил Горнов, молодой помощник провизора, задумчиво глядя на звездное небо, — давно ли бегал я из аптеки, а вот уже шесть лет прошло.

— Ну, не больно-то скоро, — угрюмо заметил Ветлин, вспомнив свой выходной день.

— А вы куда это бегали?—спросил Горнова Лаптов.

— Привели меня в аптеку, а я через месяц сбежал, меня поймали и опять привели, а я опять сбежал. Вы думаете, прежде так было, как теперь? — вдруг, воодушевляясь, заговорил Горнов, видимо, захваченный воспоминаниями. — Вот вы все жалуетесь, скверно, скверно в аптеке, нет, вы бы в мое время, небось, не то запели бы: в году-то только четыре раза отпуск, — на Рождество, на маслянице, на Пасху да на Троицу, — и Горнов посмотрел на всех, приподняв брови. — А то каждые две недели гуляют, да мало еще им. Зажирели.

Горнов вовсе не думал, что теперешнее житье в аптеке — рай, но перед ним встали все испытанные им когда-то страдания, и ему хотелось заставить своих слушателей хоть немного перечувствовать или только представить себе все, что он перенес.

И Горнов стал рассказывать, как он учился в гимназии, как его исключили, как попал в аптеку. Это была обыкновенная история выброшенных школою людей, которую расскажет почти каждый ученик аптеки, каждый помощник.

Горнов дошел до пятого класса, мальчик был трудящийся, но болезненный и слабый. Отца не было. Мать кое-как перебивалась с тремя детьми. Родной дядя, мелкий чиновник, помогал немного. Единственной мечтой матери было довести своего ненаглядного Мишу до 8-го класса и послать в университет. Но этому не суждено было сбыться. Содержать в гимназии становилось год от году труднее, пред'являлись новые требования, повышалась плата, прекратились пособия, выдаваемые прежде гимназией.

И вот однажды приходит дядя и говорит, что Михаила надо взять из гимназии, все равно не удержится, в этом смысле и директор намекал, чтоб заранее позаботились. Много было пролито слез, но, делать нечего, пришлось покориться, и Горнова взяли. Долго судили и рядили, куда его отдать, наконец порешили в аптеку, чтоб хоть таким образом добраться до университета, и Горнова отвели в аптеку. С этих-то пор начинается для него ряд испытаний. Слабый, застенчивый и скромный мальчик первое

время положительно чуть с ума не сходил ото всех этих заушений, преследований и бесцельных унижений, которые сыпались на него со всех сторон. Он забивался в угол и плакал о том, что его бьют, унижают, всячески преследуют; о том, что он не может повидаться с матерью и выплакаться у нее на груди и рассказать ей, как ему тут больно и нехорошо, о своих классных товарищах, об учителях, о гимназическом стороже и о всей той детской обстановке, которая окружала его до этого и которая в его глазах приняла теперь особенную прелесть. Но что его окончательно убивало, это мысль, что он только чуть ли не через полгода выйдет отсюда в отпускной дань и побывает дома.

Горнов не вытерпел и убежал к матери. Его, конечно, привели обратно. Тогда он через несколько дней убежал совсем из города. Его приютил в деревне какой-то мужичок, где его и нашли.

Мать встретила его сурово и строго, а дядя хотел наказать. Горнов истерически рыдал при одной мысли, что его опять водворят в аптеку. «Мама... милая мама... я не могу... я... я... не могу... я умру там... мама...» Она хотела сохранить суровость до конца, но не выдержала: «мой дорогой, мой милый мальчик... что же нам делать?..» Она обливала слезами его голову и прижимала к своей исстрадавшейся груди.

— Ну, пошло писать, — говорил дядя, хмурясь и не глядя на них. — Чего же разревелись-то, надо же итти.

И для мальчика опять потянулись те же мучительные дни. Понемногу он стал привыкать, отругиваться.

когда его ругали, хитрить и так или иначе отстаивать себе право на мало-мальски человекооное существование. Прошло три года, он сдал экзамен на помощника. Положение его улучшилось. Теперь он сам имел под своим начальством учеников, и после трех лет муки не преминул воспользоваться своей властью и поприжать ученика. Впрочем, его мягкая, немножко сентиментальная натура не дала ему очерстветь. Он был хорошим товарищем, почитывал, особенно любил декламировать стихи общественного содержания, для чего постоянно приходилось улавливать себе слушателей, которые в конце концов разбегались или начинали смеяться ему в лицо, что всегда огорчало его до глубины души; любил пофилософствовать на пессимистическую тему, что аптека — это иезуитское учреждение, созданное специально, чтоб мучить людей и потом калечить нравственно, умственно и физически. Так прожил Горнов еще три года и теперь собирался ехать слушать лекции в университете на провизора.

Обрадованный редкой минутой, когда ученики еще не перегрызлись между собою или не начали непечатных разговоров, Горнов продолжал рассказывать, и ученики сидели и слушали, и каждому припомнилось, как и он попал сюда. И странно — все это было уже давно и обыкновенно и, казалось, так и у всех бывает, и как будто не о чем и вспоминать, а теперь вдруг все это как-то особенно ярко встало перед глазами.

— Нет, братцы, это еще что, — заговорил Андрей, худенький бледный ученик, закуривая папироску и вспышками освещая свое бледное, еще полудетское

лицо, — это что. Вот у меня-то было! А то это что — и мать тут и все; а меня-то убил было один человек.

— Ну-у? за что?

— Да так вот, взял да и убил было. — Андрей замолчал, неопределенно глядя в сумрак ночи. — Отец было убил, — как будто с усилием вдруг выговорил он после минутной паузы.

— Порол, что ль?

— Да, и порол. Да это что порол, это еще туда-сюда, а то он меня совсем было убил. Из пятого класса я не перешел, вот он и давай меня дуть, и чуть было не уколошил.

— Чем же он тебя?

— Всем. Там уж не разбирал чем. Там, брат, уж не станешь разбирать чем — дуй, лупи, — говорил Андрей разгорячась и тыкая кулаком по воздуху, как будто это ему самому пришлось кого-то дуть и лупить. — Перешел это я в пятый класс, отец и говорит: «Ну, смотри, Андрюшка, учись, а то запорю тебя, прохвоста». А как раз в нашей гимназии плату подняли — сто рублей надо было платить, отцу-то и трудно; вот он и кинулся туда, сюда, а там требуют: плати, говорят, а то выключим. Занял он там у одних; «ну, говоит, Андрей, сам, говорит, ты того не стоишь, хочу, говорит, тебя довести, человеком сделать, а то и на глаза не показывайся». А у нас семья-то большая, не хватает. Мать больная, все хворает, а отец строгий, боялись мы его страсть, иной раз и выпивал, редко, положим. Ну вот и стал я учиться, хожу в гимназию, время идет. Только стал я плоховат по древним. И будто

так же как и другие, а как войдет в класс учитель, сядет за стол, развернет журнал, станет просматривать кого давно не спрашивал, или кто слаб, так вот и чувствуешь, что порежешься. Вызовет, ну и станешь ковылять, а у него лицо такое, как будто дожидается, ногти чистит, — все равно, мол, двойка, дальше не вытянешь. Ну так вот и пошло, а уж раз оборвался, подняться трудно. И остался я. Получил билет, боюсь итти домой. Ходил, ходил по городу, есть захотелось, скоро обед, надо домой. Вот пришел, кричу; мать как увидала, так и всплеснула руками: «Да что же мы, говорит, будем делать... теперь отец со свету сгонит». Забился в куток, плачу.

Пришел отец, пошел к себе, скинул мундир, выходит. Мать обедать торопится накрывать, сама бледная, тарелки расставляет. Вот отец и говорит: «Ну, что же, Андрей, получил билет?» «Получил», — говорю. А боюсь давать. «Папаша, говорю, я остался». Он как сидел так и остался на месте, побледнел, как полотно, и глаза остановились. Мать заплакала и стала хныкать. «Ах ты, подлец, ведь зарезал ты нас, подлец ты эдакой», — да как вскочит. Я было к матери, а он схватил за волосы и попер меня через кухню в сад. Мать за ним, кричит, он ее пихнул и двери захлопнул. Тянет меня за волосы, я ухватился за руку — больно страсть — кричу: «Папаша милый, я буду учиться, я теперь так буду учиться, день и ночь буду сидеть». А он только приговаривает: «ведь зарезал, зарезал ты нас, подлец!» Притащил меня в сад, ухватил жичину пальца в два толщины и начал лупить.

— Здорово?

— Фу-у, да и бил же!

Все с интересом следили за его рассказом, и Андрей, подмываемый общим вниманием, оживленный и с разгоревшимся лицом, старался передать впечатление пережитой когда-то сцены.

— Куда же он тебя?

— Куда попало. Бил, бил, аж измочалил весь комель. Я кричал, кричал, да до того стало больно, что без памяти вцепился ему в руку и укусил.

— Ага! — не вытерпел Ветлин.

— Тогда он схватил заступ, выдернул из него палку, да как с'ездит меня этой палкой, я и память потерял, и ничего уж после того не помню, что было. А как пришел в себя, гляжу — наша кухарка стоит надо мной и воду льет. «Ишь, говорит, как вы папашу рассердили; вот и мамаша теперь тоже, бог знает что с ними делается — все в истерике». Поднялся я кое-как, пошел. Только подошел к крыльцу, отец выходит, я хотел бежать, но не мог, он схватил за шиворот.

— Бить опять? — тревожно спросил Горнов.

— Нет. Подвел меня к калитке, да каак даст сзади, я так и вылетел на мостовую. «Ступай, говорит, куда хочешь, и не показывайся, а то я тебя убью», — и узелок какой-то выкинул. Поднялся я, коленки все разбитые, к телу притронуться нельзя, взял узелок и пошел по улице. И не жалко мне дома и что отец меня выгнал, до того я весь был избитый. Иду, сам не знаю куда, плачу, все на меня смотрят. Вот шел, шел, свернул на другую улицу, потом под гору стал спус-

каться, а под горой у нас вокзал. Пришел я к вокзалу и думаю: господи, куда же я денусь?

— А ты бы к матери потихоньку, — перебил его другой ученик Зельман.

— Да, к матери! Он-то ведь тоже ей задаст; она боится и просить боится, только плачет.

— Ну?

— Ну вот тебе и ну, итти-то некуда. Вот я и влез в сквер, тут же при вокзале, сел себе за куст и плачу. Тело все болит, весь в синяках, на лице кровь запеклась. Вот посидел немного, полез в сумку, гляжу — в сумке штаны мои, две рубахи и краюха хлеба. Как увидел, так сердце и екнуло — шабаш, значит, не увижу я дом больше. Горько мне стало, взял краюху и с'ел.

— В саду-то он тебя, видно, вытряс.

— Да, вытряс; целый день с утра с самого ничего не ел. Сижу под кустом, все думаю, как мне домой воротиться, ан уж и вечер, а там и ночь. Темно кругом, в сквере-то никого нет, жутко мне стало; все прислушиваюсь, не подбирается ли кто. Так вот и просидел всю ночь. Тут сейчас поезда ходят, паровозы посвистывают, на станции звонки все подают, а я сижу один в темном кусту, сижу и боюсь. Помучился же эту ночь. Часов так в двенадцать гляжу, идет кто-то в темноте по саду прямо на меня. Я замер, притаился, недохну. А он идет по дорожке, подошел к кусту, постоял, постоял и пошел дальше.

— Не видал, должно быть.

— Должно быть, не видал, а, может, и так просто человек какой-нибудь шел, я-то не различу сквозь

куст. Опять я остался один. Сидел, сидел, и сам не знаю как, взял да и заснул. Проснулся, а солнце уж где высоко, гляжу, не признаю спросонок, где я: кусты кругом, дорожки, возле машина, да потом вдруг вспомнил все, что случилось, и опять за сердце засосало. Куда я денусь? Сижу, думаю, глядь, сторож идет с метлой, дорожки подметал. Я вскочил, только пустился бежать; он погнался, поймал. «Ты, говорит, кто такой?»

— Я, — говорю, — такой-то. — Э, да что это ты весь в синяках. Да ты из жуликов, должно быть. А это что за сумка, сдул, видно, давай-ка сюда. Полез в сумку, достал рубаху, штаны, посмотрел и опять запихнул. — Ну, — говорит, — пойдем к жандарму. — Я стал просить, кричу, упал перед ним: дяденька, не води ты меня! А он тащит; а я как вспомню, что меня в полицию отведут, а полиция к отцу представит, так весь и похолодею — убьет он меня: тут весь в долгах, тут есть нечего, а тут я — непременно до смерти забьет. А сторож тянет за руку да приговаривает: «ну-ну, сволочь, не упирайся», — да коленкам все под зад. Ну, тут уж я ополоумел... руку, братцы, ему поцеловал, ей богу. Он остановился, удивляется: да чего ты, говорит, ежели ты не виновен, чего ты, дурак, боишься?.. Я рассказал все. Постоял, постоял, «ну, ступай, да смотри больше не лазь сюда». Пошел я на товарную станцию, стал просить кондукторов, чтоб довезли до соседнего города, — крестная у меня там была, — не берут без денег. Так и пришлось итти пешком по полотну. Ну, а как пришел к крестной, она меня в тамошнюю аптеку пристроила, а потом сюда перевелся.

— Что же, пишут тебе? — спросил Ветлин.

— От матери иногда получаю письма, редко — большая она; иной раз и денег немножко пришлет. Соскучилась, повидать хочется.

— Да бог с ним, я на него зла не имею, — заговорил Андрей после минутной паузы, — вот как получу помощника, непременно поеду.

Ученики немного помолчали.

— А вот у нас, господа, как я учился, так страсть весело жилось, — заговорил вдруг Зельман, оживляясь. Не мог он долго быть в серьезном настроении. — Ей богу. Бывало, какие штуки отмачивали, — и Зельман покатился со смеху. — Один раз колбаса наша что выдумал: как поставит кол, так и сиди без обеда; отдыху, бывало, не давал, все каждый день человек пять, шесть из класса сидят. Вот мы раз и сговорились: перед самой его лекцией взяли да и запустили в подушку стула иголку ушком-то вниз. Ну, он и... он и пришел... — смех не давал говорить Зельману; ученики, заражаясь, тоже начали смеяться, — пришел, ка-ак сядет, да как заревет... — Зельман повалился на скамейку и опять сквозь слезы, перехватываемый спазмами, проговорил заикаясь: — о...на у не...го пе...реломилась... доктор разрезал... — и он сполз на тротуар и стал корчиться от душившего его истерического смеха, отмахиваясь руками.

Ученики тоже хохотали. Наконец Зельман немного успокоился и стал рукавом вытирать слезы, вздрагивая от последних припадков смеха.

— Чего же, досталось?

— Меня выгнали, да еще двоих, да весь класс по очереди по двенадцати часов отсидел в карцере, — с трудом выговорил Зельман, продолжая вытирать свое мокрое лицо. — Дай-ка, Андрюшка, покурить.

Тот усиленно и торопливо несколько раз затянулся маленьким окурком разом, в ночной темноте освещая свое бледное лицо, и подал его Зельману, сплевывая попавший на язык табак.

И долго еще сидели ученики и Горнов на скамеечке и вспоминали свое детство, гимназию, учителей, каникулы, и каждому было грустно и жалко чего-то навсегда для них потерянного.

Ночной холодок пробежал по телу мелкой дрожью. Дальний гул дрожек и экипажей затихал над заснувшим городом. Дома неподвижно стояли по сторонам пустых улиц, слабо рисуясь на звездном небе темными контурами.

— Ну что ж, господа, вам-то дрыхнуть, а ведь мне дежурить, — проговорил Ветлин, подымаясь со скамеечки и потягиваясь.

Но ученикам не хотелось расходиться. Воспоминания о прошлом носились в душе, навеявая грусть, и каждому еще многое хотелось рассказать.

— Вот что, пойдемте наверх, да там и посидим, — предложил Андрей.

Все согласились, поднялись и на цыпочках прошли через аптеку. Ветлин запер дверь и стал укладываться на стойке, а остальные поднялись наверх в комнату Зельмана. Но настроение уже нарушилось. Зельман, как пришел, сейчас же повалился на кровать спиной,

задрал ноги и крикнул: «тише, слушайте». Все на минутку примолкли в ожидании, а он, упираясь обеими руками о кровать, стал болтать животом во все стороны; слышно было, как в желудке переливалась вода. Андрей ткнул его кулаком в пузо, и они завозились на постели.

— Ну, чего же это вы? — разочарованно протянул Горнов.

И он вышел из комнаты. Зельман с Андреем еще долго возились, пока потные, задыхающиеся, серые от пыли они окончательно не выбились из сил: Андрей закашлялся.

В комнате стояла непроницаемая пыль, и в воздухе плавали перья и пух.

Надо было ложиться спать, чтоб завтра опять начать тянуть ту же бессмысленную тяжелую жизнь. Зачем?

НА ПАРОВОЗЕ

(Рассказ старого адвоката)

— Знаете ли, много всего прошло через мои руки; всего насмотрелся. С радостью-то мало приходили, все с горем больше. Адвокаты и врачи в этом отношении невыгодно поставлены: с радостью к ним никто не пойдет, а все с горем да с страданием. Вон священнику приходится не только хоронить да панихиды петь, а и свадьбы играть, благодарственные молебны служить; а к нашему брату приходят все с кислыми физиономиями; как вошел, так уж и знаешь, что начнет сейчас выкладывать какой-нибудь проигрыш, недоразумение, потерю. Да-с.

Он замолчал, достал дорогую сигару, обрезал ей кончики и закурил. В комнате стемнело. Огромный черного дерева письменный стол, заваленный бумагами, слабо выступал в сумерках, наполнявших комнату. Дорогие статуэтки, бирюльки, ковры, картины, резные украшения потолка — все тонуло в полусумраке.

Некоторое время и гость и хозяин сидели молча.

— Не потому ли средняя жизнь в этих двух про-

фессиях так непродолжительна, — заговорил хозяин, — не выносит нервная система: в слишком тяжелую, неприветливую и подавляющую картину складываются впечатления повседневной жизни.

Его собеседник улыбнулся:

— Что касается врачей, — заговорил он, — это понятно; средняя продолжительность жизни у них самая короткая из всех интеллигентных профессий, и там это главным образом об'ясняется чисто технической стороной их деятельности: возможность заражения, переутомления и проч. Ну, а адвокаты-то, кажется, живут себе ничего, припеваючи.

Хозяин торопливо поднялся с оттоманки, где он комфортабельно сидел с душистой сигарой во рту.

— Извините, тяжелые, неприятные, болезненные впечатления, ложась постоянно на душу, не могут проходить незамеченными. Знаете, падающие капли даже камень пробивают. С этим необходимо считаться. Неужели вы думаете, что в человеческой жизни играют роль только, так сказать, физические факторы; ну, например, заражение, переутомление и проч.; факторы же нервной жизни, по-вашему, не имеют никакого значения? Это теперь-то, когда все толкуют о нервности нашего века!

— Да нет, не то; я вовсе не отрицаю влияния факторов этого порядка на жизнь, на душевную деятельность, на долговечность, наконец на здоровье, я только хочу сказать, что адвокаты-то тут не при чем. Потому ли, что они обтерпелись, привыкли или почему-либо другому, только я уверен, что они каждое

дело, каждое горе, с которым к ним обращаются, оценивают исключительно с юридической, так сказать, стороны, со стороны доказательности, что ли, его, вероятия выигрыша, что из-за профессиональной точки зрения они упускают, теряют точку зрения общечеловеческую. Я только хочу сказать...

— Э, батенька, что вы мне рассказываете, что же мы не люди, что ли! Да наконец вы и сами готовитесь к этой же деятельности! Конечно, и среди нас встречаются и, может быть, чаще, чем в других профессиях, люди, ну, с эгоистическими, что ли, задатками, люди, которые оценивают все с точки зрения выгоды, доходности, но это еще ничего не доказывает: везде во всякой профессии есть разные люди — и хорошие и дурные. А только вы хотите навязать нам исключительную жесткость — это несправедливо. Иной раз просто рад бы все бросить и убежать.

Адвокат прошелся по мягкому пушистому ковру, поглощавшему его шаги, потом уселся поуютнее на оттоманку, раскурил новую сигару, поджал ноги и заговорил:

— Да вот постойте, я вам расскажу один случай из моей практики. Это было несколько лет тому назад, но мне и теперь все так живо представляется, как будто вчера случилось. Сижу я как-то, занимаюсь, — звонок. Вышла прислуга, слышу, говорит с кем-то, долетают звуки незнакомого голоса, бас. Думаю: из клиентов, верно, кто-нибудь пришел, и горничная не пускает — часы-то приемные прошли, а я не люблю, когда меня беспокоят в неурочное время. Входит гор-

ничная: «К вам, барин, пришел какой-то, просит, говорит, по делу, на одну минутку». Кто такой, спрашиваю. — «Не знаю, не говорят: одеты не очень, что-бы...» Поморщился я, ну, да ладно, говорю, введи. Горничная вышла. Смотрю — входит, нет, не входит, а вваливается что-то огромное, монументальное, задышающееся. Господи боже, думаю, что это такое? Что вам, говорю, угодно? — «Подождите, говорит, дайте отдышаться, не могу...» Придвинул я стул, сам сел, ожидаюсь. Он повалился на стул, не отдышится, сам такой громадный, что и стула под ним не видно. Гляжу на него, в первый раз вижу такого колосса: ноги — как тумбы, руки — не обхватишь. Присмотрелся: э, да дело-то плохо — у него водянка: лицо одутловатое, обвисло, глаза с желтизной, весь, как налитый. Ну, посидел, отдышался, стал разматывать шарф. «Я... я... — говорит, — к вам... знаю... дело пропащее, все равно уже ничего не сделаешь, у всех был... хочу от вас услышать окончательно, что нельзя, и уж тогда бросить окончательно... одышка меня замучила...». Говорит, а сам задыхается, слово скажет, передохнет и опять. — Что же такое у вас, спрашиваю, расскажите.

— «Ох, не могу... дайте, говорит, отдышаться, задохся... трудно... сердце у меня плохо работает, задыхаюсь».

Велел я подать ему воды, успокоился он, отдышался. «Вот, говорит, документы и подписка... роковая... сгубила меня, через нее все и пропало. Я — машинист первого разряда, служил в обществе Юго-восточных дорог, от Ростова до Воронежа водил поезд».

Служил уже лет двадцать, мне теперь сорок три. Первым машинистом был. Бывало, если начальство большое едет, или из сановников кто, обязательно я везу; а уж если из царской фамилии кто-нибудь, только мне одному и поручали вести поезд, на одного только и полагались, и надеялись. Был я силач, — видите рост-то, — смелый и ловкий. Водил исключительно курьерские поезда и зарабатывал хорошо, с поверстными, «жалованье кругом» тысячи две в год. Да».

Он замолчал и отер выступивший на лбу пот.

— «Вот устаю, трудно мне,— заговорил он опять, — сгубила железная дорога, силы-то, силы-то сколько было, и вот теперь тряпка, никому и ни на что негодная».

Обыкновенно, когда мои клиенты начинают разливаться в ламентациях, я эту часть пропускаю и по возможности стараюсь сократить; особенно дамы любят поплакаться; существенного, к делу относящегося ничего не говорят, а хнычут. Но когда этот заговорил, у меня сердце перевернулось: когда-то это, видимо, был могучий человек, а теперь от всей его фигуры веяло беспомощностью ребенка.

— «Вот посмотрите пожалуйста», — он протянул мне небольшую бумагу. Я взял, развернул и прочитал: «Копия. Такого-то числа, месяца и года. Я нижеподписавшийся даю эту подписку правлению общества Юго-восточных железных дорог в том, что получил полное удовлетворение от означенного общества и претензий и требований к обществу никаких не имею». Ясно и просто. — Чего же вы хотите, говорю. — Пришел к вам

посоветоваться; знаю, что ничего уж нельзя поделать, что все для меня проиграно, эта подписка связывает меня по рукам и ногам, но, понимаете ли, я и моя семья умираем с голоду, я же болен, не могу и куска заработать. Да уж вот расскажу вам все по порядку. Поступил я двадцать лет тому назад на железную дорогу машинистом, был молод, силен, здоров; дорожили мной. Двадцать лет водил поезда, не досыпал, не доедал, не раз подвергался опасности, но бог выносил. Это было года полтора тому назад; дали мне вести курьерский поезд. Поезд небольшой, паровоз у меня превосходный был, блестящий, громадный, необыкновенно сильный, смотрел я за ним, как за ребенком, каждый винт, каждая гайка отчищены, и никому никогда не давал; иной раз не в очередь идешь, на ногах по двадцати шести часов бывал, только чтоб не дать другому итти с твоим паровозом, а то, знаете, какой народ, не доглядишь — спустя рукава отнесется, вот и пропал паровоз, сделался калеккой. Паровоз, знаете, как кровная лошадь, требует за собой самого тщательного присмотра, и, ежели смотришь за ним, он служит тебе верой и правдой, а чуть не досмотрел, пиши пропало, навсегда уж ни к чорту негоден становится: капризная штука. Ну, так вот повел я поезд. Знаете, и весело водить курьерские поезда, в то же время ничто так не с'едает нашего брата, как они. Весело тем, что паровоз тебе превосходный дается, публика чистая, поезд маленький, а ход такой, что дух захватывает.

С другой стороны, ничто так не укорачивает жизни, здоровья и силы, как эта страшная быстрота; мимо

тебя мелькают столбы, будки, знаки, мосты, семафоры, станции, стрелки; по бокам широкой полосой проносятся поля, пашин, перелески, деревни, дачи. Нужно каждый момент, каждую секунду напряженно ловить особенности пути, закругления, знаки и сообразно с этим ускорять или замедлять ход. Все это проносится в голове с такой же быстротой, с какой несется паровоз, и когда встаешь с паровоза в конце пути, чувствуешь себя совершенно разбитым. Солнце уже садилось, когда мы вышли. Промелькнуло несколько станций, подошли к Новочеркасску, набрали воды, пошли дальше. Стало темнеть. Паровоз шел полным ходом, воздух, разорванный его грудью, свистел и гудел вокруг, срывая вырывающиеся из трубы пар и дым, под колесами крутился ураган. Мягкая, южная ночь стояла вокруг, скрывая окрестности и скрадывая движение, только предметы, находившиеся у самой дорожки, по-прежнему проносились с головокружительной быстротой. Огромные рефлекторы далеко вперед кидали яркую полосу света, которая, колеблясь и вздрагивая, скользила по пути, и видно было, как шпалы, точно пожираемые чудовищем, сливаясь в сплошную полосу, пропадали под паровозом. Локомотив кидало и качало из стороны в сторону от клокотавшей, бурлившей внутри его могучей силы, которая прорывалась в безумном беге, но несмотря на страшное напряжение, он не мог нагнать два отблеска, все на одном и том же расстоянии от него скользивших впереди по полированной стали рельсов. Я и помощник напряженно всматривались вперед. Мой помощник — молодой человек,

чрезвычайно симпатичный и милый, лет двадцати двух, только недавно поступил ко мне на паровоз.

— Иван Федорович, — проговорил я, перегнувшись с паровоза, — впереди что-то есть, как будто огонек мелькнул.

Тот пристально взгляделся. — Нет, это вам показалось. Ночью-то трудно ориентироваться. Иной раз мелькнет огонек, не разберешь: нето на стрелке, нето где-нибудь в окне хаты, особенно на поворотах.

Я несколько успокоился, но все так же напряженно всматривался в синюю мглу летней ночи. Вот опять впереди далеко, далеко где-то мелькнула светлая точка, показалась и опять пропала. Сердце у меня стукнуло. По бокам то-и-дело выступали среди ночной темноты огоньки, и светлые точки проносились и пропадали позади, но это было понятно, это мелькали и пропадали огни хуторов. Что же такое впереди? Надо заметить, что путь впереди шел закруглениями и петлями. Что, если мелькнувшие впереди огни были огни поезда, который то скрывался, то показывался на закруглениях? Нет, не может быть, это было бы слишком чудовищно!

Я положил руку на регулятор: на закруглениях поезд должен тише итти, да и тайный голос настойчиво шептал мне: тише, иди тише. Еще раз перегнулся и превратился в зрение: хотелось пронизать эту мглу, скрывавшую даль, но ничего подозрительного не видел; прислушался: над полотном стоял грохот — то грохотал наш поезд. Нет, все благополучно, — подумал я; да и что может случиться?

ведь, когда пускают «курьерский», самым тщательным образом проверяют, свободен ли путь.

Вдруг помощник рванулся: «поезд!.. пропали!» Впереди вырезались во мгле два огня; с каждой секундой они становились ярче и больше. Мысли бурным вихрем пронеслись в моей голове: «если прыгнуть сейчас, я спасусь — вдоль полотна насыпаны груды песка, упаду мягко... никто не узнает... сбросило при столкновении, и все тут... да и некому указывать: все будут разможжены...» Помощник мой, вероятно, угадал мою мысль и уже повис с паровоза, но я вместо того, чтобы последовать его примеру, с силой отбросил его на паровоз, а сам кинулся к регулятору и тормозу. С страшной силой вырвался, обдав нас жаром и влагой, пар, вся внутренность паровоза забурилась, заклокотала безумной силой прерываемого бега; колеса, сочленения, сталь и железо заскрежетали с нетерпимым для уха, поражающим визгом; паровоз весь дрожал, сзади напирала вагоны, ломая буфера, сплющивая площадки, из-под колес сыпались искры, но мы неслись почти с прежней быстротой, и вместе с нами неслись адский грохот, но уже не правильный, обычный, с постукиваниями, а грозный, предвещавший смерть и разрушение; покрывая его, зазвучал среди ночи, среди спавших окрестностей, могучий гудок нашего паровоза, будя тревогу и ужас. А пассажиры мирно спали, убаюкиваемые мерными покачиваниями. От страшного физического и нервного напряжения у меня хлынула кровь из ушей и носа. Быстрее, чем я это ожидал, полотно впереди перед нами ярко осветилось встречными рефлекторами,

и в ту же самую секунду раздался такой ужасающий удар двух огромных металлических масс, какой я слышал только единственный раз в жизни. Кто-то огромный неуклюже и тяжело опустил мне на голову тяжесть, вокруг меня все исчезло, я моментально погрузился в темноту и молчание. Когда я очнулся, кто-то лил мне на голову воду; песок, в который меня отбросило, был смочен кровью. Вокруг толпились пассажиры; кондуктора с фонарями бегали вдоль темного силуэта поезда. Казалось, особенного с ним ничего не случилось. Но когда я поднялся и подошел, то увидел следы разрушения. Наш паровоз, как гигант, поднялся на дыбы, подмяв под себя небольшой товарный паровозик, который шел навстречу нам, к счастью, один, без вагонов. Багажного нашего вагона не было: на месте его высилась груда щепок. С следующего вагона третьего класса сорвало крышу, так что видны были все скамьи; тут пострадали двое: одному переломило спинной хребет, другому выпустило внутренности; остальные пассажиры отделались ушибами. Остальные вагоны уцелели, только плотно сошлись стенками; площадки не было ни одной, все сплющило. Меня окружили пассажиры, взволнованные, радостные, жали руки, благодарили. Они узнали, что машинист встречного паровоза соскочил перед столкновением; это мог бы сделать и я, и тогда бы поезд погиб. Вдруг, словно что-то толкнуло меня: где же помощник? Я торопливо вернулся к паровозу, обошел с другой стороны; тут стояла кучка людей. Я протолкался: на земле лежал человек без лица; это был несчастный Иван Федорович, у него не было

головы. Через час пришел вспомогательный поезд, и нас доставили на станцию. Пассажиры дали телеграмму министру путей сообщения и управляющему дороги о том, что я спас поезд. Когда я явился после, оправившись, на место службы, меня встретили с распростертыми объятиями. Снова я стал водить поезда, попрежнему принялся за работу. Только стал я замечать, что со мной неладно: головокружения стали делаться, одышка. Пошел к врачу, тот осмотрел: — Эге, говорит, дело дрянь! это последствия крушения, вам нужно оставить службу. — Как же, говорю, я оставляю, когда только этим и кормлюсь.

Отправился к начальству и рассказываю, так и так, мол. Те и говорят: — вот что, мы вам дадим тысячу двести рублей, вы поезжайте полечитесь, отдохните, а через год приезжайте — мы вас опять примем. Отлично. — Только вот, говорят, чтоб недоразумений никаких не было, — подпишите, пожалуйста, вот это, — и подают мне текст этой самой подписки, где я свидетельствую, что железной дорогой удовлетворен и претензий к ней никаких не имею; я сдуру-то и подмахни. Ну, поехал, полечился; прошел год, деньги эти вышли, надо же что-нибудь есть, надо семью кормить. Приезжаю опять в управление, прошу опять принять. Те поглядели на меня, видят — больной я, ослаб, износился у них на работе: — нет, говорят, не нужны вы нам больше. — Да как же так! Что же мне помирать, что ли? — А это уж как, говорят, знаете. Только ведь вы подписку нам дали, что удовлетворены, так что дело кончено. Тут только я понял, какого

маху дал. Бросился по адвокатам, никто не берется: дело-то ведь наверняка проиграно. Вот теперь к вам пришел, скажите: можно, ну, буду бороться, нет, так уж так и буду знать, придется с голоду околевать.

— Когда он сказал мне это, — заговорил адвокат, — мне точно в сердце стукнуло. Можно ли, нельзя ли, говорю, а бороться нужно. Написал прошение, подал, выхожу в суд; иск назначили в шесть тысяч; председатель и спрашивает: признаете подписку вашего клиента? — Да. — Ну так чего же вы и ищете? — Я объясняю, что подписка вынужденная, рассказал обстоятельства дела, но не помогло: суд отказал. Перенес дело в палату. Там вышел молодой юрист и, когда ему указали, что с формальной стороны иск безнадежен, он между, прочим, сказал, обращаясь к составу суда: — представьте себе, гг. судьи, что вот именно вы, вот как раз в этом составе ехали бы в этом злосчастном поезде, ваша жизнь была бы в руках машиниста; ведь он преспокойно мог бы спрыгнуть с поезда, остался бы жив, здоров, теперь бы преспокойно жил, работал, а вы бы все остались бы под обломками разбитого поезда. Но этот человек ценою своего здоровья, своей жизни купил жизнь других людей; неужели же теперь его нужно вышвырнуть, как негодную тряпку?

Долго совещались судьи, и постановили взыскать с железной дороги две тысячи двести рублей, как раз хватит ему до смерти; много, если два года протянет. Так вот так-то, молодой человек, всего бывает, — проговорил адвокат, доставая сигары.

— Да-а, это действительно, — проговорил его слушатель, вставая и потягиваясь, — только не договорили немножко, скажите, пожалуйста, сколько вы взяли с него за это дело?

Адвокат сердито отрезал оба хвостика сигары и не отвечая закурил ее. В комнате совсем стемнело.

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ РАССКАЗЫ

ВЫБОР

На краю необозримой равнины стоял юноша. Перед ним, искрясь снежными кристаллами, тянулась дорога, теряясь в морозной дымке зимней ночи, а над ним во все стороны простиралось звездное, игравшее морозом, небо. Вдали смутно подымались горы, сияя алмазами, стояли леса, одетые инеем, блистали огни городов. В этих городах жили люди, и бурлила неутомимая кипучая жизнь, как поток низвергающийся белой пеной среди камней, стесненный отовсюду утесами.

И юноша жадно вперил взор в морозную холодную даль зимней ночи. Глаза его блестели молодостью, смелостью и жаждой жизни. Члены его были упруги, сильны и подвижны, а в груди билось сердце, полное смутных ожиданий, подвига, побед, счастья, радости, наслаждений и любви. Он был молод и стоял в первый раз на краю равнины, откуда начиналась дорога жизни.

Он глубоко вздохнул, забирая в легкие морозный зимний воздух, и уже сделал движение, чтоб пуститься в путь навстречу неизведанных еще наслаждений и ра-

достей, как вдруг услышал легкий шелест крыльев, и почувствовал, как кто-то незримый коснулся его плеча. Он оглянулся и, побледнев, отступил на шаг: перед ним обвешанный черной дымкой, как трауром, стоял призрак смерти с кроткой, печально-ласковой улыбкой сожаления.

— Так скоро? зачем? — проговорил юноша побледневшими устами.

Ничто не пошевелинулось, не прошелестело, вокруг стояла все та же неподвижная зимняя тишина, над головой в морозном небе искрились звезды, и юноша почувствовал беззвучный ответ:

— Не бойся, я не возьму тебя против твоей воли; я лишь должен развернуть перед тобой перспективу жизни. Она вся откроется до самого края, ты увидишь и оценишь ее, и сам решишь, идти ли тебе по этой манящей в неведомую даль дороге или не начинать обманчивого пути.

И тогда успокоенный юноша стал глядеть на равнину, жадный увидет жизнь так, как она есть, и испытать ее всю до дна. Силы молодости трепетали в нем.

Равнина стала светлеть, таинственный покров зимней ночи исчезал, и все выступало в своем настоящем виде. Дорога уже не искрилась в лучах игравших в морозе звезд, она вся была изрыта выбоинами и ухабами и шла петлями и извилами, спускаясь в глубокие овраги, взбираясь по крутизнам, теряясь в болотистых топких местах, чуть-чуть затянутых сверху обманчивой ледяной корой. Горы, манившие к себе своими таинственными величавыми очертаниями, сурово высились теперь

бесплодными оголенными утесами, обвеянными метелями. Порубленные леса печально чернели голыми пнями, а сохранившиеся от порубки зорко охранялись об'ездчиками, и в воздухе то-и-дело проносился заячий крик бедняка, которого накрывали с вязанкой хвороста, увяжаемого им дрожащими ооченелыми руками.

Когда еще больше посветлело, до невидимых пределов открылись деревни. И в них копошился народ, темный, невежественный, грубый, изнывая в нищете и суевериях.

Между деревнями там и сям открылись города. Жизнь кипела в них, и люди полной чашей черпали все доступные наслаждения, ибо золото лилось там непрерывным потоком. И перед жадным взором юноши вставала возможность деятельности и борьбы на пользу и счастье униженных, угнетенных и оскорбленных. Он видел школы, театры, музеи, больницы. Юношеское сердце билось жаждою любви, и он видел обаятельный женский образ, обвеянный негой и запечатленный ясной мыслью и умом.

Боже мой, как хороша должна быть жизнь, как она полна, разнообразна, какое нестерпимо острое счастье должна дать любовь!

И юноша рванулся скорей изведать всю радость жизни.

— Подожди, — как дыхание пронеслось над ним. Все больше и больше светлело

Вокруг огромных, красивых зданий городов тянулись по окружности темные, покосившиеся лачуги. Всмотревшись, юноша заметил, что в них копошится

множество народа, мужчин, женщин, детей, в лохмотьях, грязных, оборванных, испитых, способных на кражу, грабеж, убийство от нищеты, голода и отчаяния. Всмотревшись пристальнее, он с ужасом увидел, что и в сырых и темных подвалах, великолепных центральных зданий гнездится еще больше испитого задыхающегося от порока, нужды, непосильного труда, пьянства и разврата рабочего люда. Он увидел, как женщины торговали своим телом, как дети валялись пьяными.

И юноша отвратил свои взоры от этого ужасного зрелища и стал глядеть в верхние половины красивых домов, где блистали паркет и позолота. И здесь он увидел под внешним изяществом, лоском и красотой такое неисчерпаемое море лжи, обмана, дикости, предательства, жадности, корыстолюбия, что сердце у него на минуту перестало биться. И к еще большему ужасу он увидел, что тот пленительный, бесконечно манивший к себе образ женщины, который носился перед ним, как ореол счастья, потускнел, покрытый налетом мелочности, тщеславия, постоянной женской лжи, отсутствия мысли и интересов ума. Он видел только либо добродетельных самок, либо самок, торговавших и отдававших свое белое тело напрокат.

И юноша не выдержал: крик бесшумного отчаяния пронесся в застоявшемся, морозном воздухе. Кругом снова все засинело синевой морозной зимней ночи, и серебристая дымка затянула даль; только звезды по-прежнему играли над головой. И вдруг на него глянуло старческое, изможденное, изрытое морщинами лицо. Слезающиеся глаза смотрели, мигая красными без ресниц

веками, и в их усталом взоре чувствовалась полная безнадежность, разбитые силы, обманутые надежды и тоска неудовлетворенной жизни. Юноша глядел расширенными зрачками на это старческое лицо и чувствовал, как холодела в нем кровь: он узнал самого себя. Вот его портрет при конце жизни.

Он понурил голову и сжал пальцы так, что они захрустели. Стоило ли идти в эту жизнь? Зачем? Разве можно быть счастливым, захлебываясь в этом мутном океане лжи, несчастья, позора, подлостей и взаимного поедания людьми друг друга? Разве можно быть счастливым даже при полной личной обеспеченности, когда знаешь, что рядом умирают с голода, торгуют собой от нищеты, вонзают нож в своего ближнего от отчаяния? Как можно отдаваться ласкам любви, когда не уверен в завтрашнем дне, когда жизнь не что иное, как лотерея, когда несчастья стерегут тебя на каждом шагу, когда кончишь тем, что превратишься в развалину, как этот старик?

Зачем начинать игру, которая, как заранее знаешь, будет проиграна?

И призрак тихо ждал.

Вдруг юноша поднял голову, встряхнул кудрями, яркий румянец залил его покрытые нежным пухом щеки, и глаза заблестали молодой отвагой и смелой решимостью. И он с улыбкой надежды и ожидания счастья и радости, с той улыбкой, с которой люди вступают в жизнь смело и беззаботно, пошел вперед в сияющую даль, и над ним попрежнему играли звезды, далеко на краю таинственно подымались профили гор, непо-

движно стояли лесные дебри, отягченные снежным убором, и вдали приветливо мигали огни людских жилищ.

Долго среди снежной пустыни, переливавшей мриадами синеватых искр, оставался призрак, смежив свои незримые крылья. Тысячи тысяч людей прошли перед ним по этой дороге, и каждый из них думал и шел с уверенностью, что именно его-то и ожидают впереди счастье, радости и удачи, а бедствия, горе, отчаяние и нужда предназначены для других, и никто не хотел верить предупреждениям и испивал чашу до дна.

УЧИТЕЛЬ ЖИЗНИ

Юноша, не знавший жизни и людей и жаждавший испытать первую и познать вторых, долго шел среди лесов, полей и степей и наконец пришел в большой город, лежавший на берегу реки недалеко от моря. Город был богатый с красивыми зданиями, театрами, банками, кабаками и веселыми домами. Все это заливалось электрическим светом:

И юноша обрадовался. «Вот, — думал он, — то, чего я так добивался». Но когда он вошел в одну из улиц, его отшатнуло: такое нестерпимое зловоние уда-

рило в нос. Тогда он поднял голову и увидел, что над городом стоит густой смрад.

И юноша спросил прохожего:

— Отчего этот смрад? Тот ответил:

— От двух причин: во-первых, мы никогда не чистим своих дворов и не заботимся о физической чистоте, во-вторых, мы никогда не заглядываем внутрь

себя, и все, что собирается в нашей душе нечистого, так и гниет и разлагается там. К тому же мы — язычники.

— Как язычники? — возразил юноша, — я вижу у вас много церквей, часовен и благотворительных учреждений.

— А это ничего не значит, — ответил прохожий. Дело, видите ли, в чем. Бог дал людям десять писанных на скрижалях заповедей, мы же чтим и исполняем только одну неписанную: одиннадцатую. Всякого, кто ее, эту одиннадцатую заповедь не исполняет, мы лопаем живьем, совсем с ногами, внутренностями, с детьми, домами и всем имуществом. Всякий, кто впервые попадает сюда, должен прежде всего усвоить одиннадцатую заповедь и научиться так жить, как мы живем.

— Но как же это сделать, и у кого я буду учиться? — спросил юноша.

— О, учителей у нас видимо-невидимо: почти все, кто обладает большими домами, предприятиями, торговлей, почти все могут вам преподать уроки.

Юноша отправился искать себе учителя, который бы научил его, как жить. Встретил он грузного человека, мрачного, неуклюжего и толстого, как дикий лесной буйвол. Он издавал нечленораздельные звуки и за каждым звуком прибавлял скверную брань.

— Тае... ежели хочешь жить... тае... грабь... тае... живого и мертвого. А как... тае... награбишь, благотвори, и тогда тебе тае... почет и уважение... тае... так вас всех и эдак!..

Юноша смущенно задумался: совет был прост и ясен — грабь, но неудобноисполним, ибо на перекрест-

ках виднелись городовые, и на некоторых домах значилось, что это полицейские участки. Тогда юноша обратился к другому учителю, рассказал ему о том, что преподдал первый, и просил научить его жизни. Последний охотно согласился и сказал:

— Конечно, нечего и думать теперь сдирать с ближнего кожу попросту и без затей, как это делалось в старину; те времена прошли безвозвратно, человек же тот старого закала, и ему трудно перемениться. Теперь нужны новые приемы. Сделайте именно так, как я: заведите явно гостиницы, а тайно сделайте из них веселые дома, и за то, что вы сделаете втайне, вам воздастся явно; в ваших гостиницах втайне будут гибнуть тысячи молодых девушек, а явно у вас будут толстеть и раздуваться карманы, и будет вам хорошо, и легко и спокойно на совести.

И юноша отошел от учителя и задумчиво пошел по улице. Ему попался новый незнакомец, и он обратился к нему с тою же просьбой.

Тот остановился и проговорил:

— Чтобы жить здесь, надо уметь «выворачивать шубу» и не раз и не два, а через каждые три, четыре года.

— Но что значит «вывернуть шубу», — спросил наивный юноша.

Незнакомец посмотрел на него с насмешливым презрительным сожалением и проговорил:

— Я вижу, из вас не будет проку. Это ведь у нас азбука, и если вы азбучных истин не знаете, так читать в нашей книге всеобщего об'егоривания никогда не научитесь. Помните одно — все жители нашего города

разделяются на два разряда: на дураков и умных; дураки шубы не выворачивают — потому ли, что не умеют, или потому, что не могут, все равно; умные выворачивают через известные промежутки и притом так ловко, что имеют полную возможность это и впредь делать систематически. Умные у нас в почете, уважении, занимают разные почетные места, дураков же подают под соусом, хреном или фаршированными. Но имейте в виду что умные оперируют не только над дураками, но и над своим же братом умным, поэтому при нарушении одиннадцатой заповеди всегда возможно в виде наказания из умного сделаться дураком и немедленно же попасть в начинку или фарш. И еще запомните, что никакие близкие, приятельские, дружеские отношения не спасут: сегодня я с вами приятель и друг, а завтра, как только вы нарушили единственно чтимую нами заповедь, я буду обсасывать ваши косточки.

— Но ведь это людоедство! — в ужасе вскричал юноша.

— Да, но... бескровное, и в этом весь секрет. Юноша пошел дальше и встретил юркого прыткого человека, у которого все члены были подвижны и ловки, взгляд такой, как будто он насквозь видел людей, и знал, как каждого из них обойти, а на челе у него был отпечаток: «жженный».

— Послушайте, я знаю, что вам нужно, — заговорил он быстро, не теряя времени, так как у него каждая минута была на счету, — и я вам вот что должен сказать: все приемы, о которых вам говорили, устарели; не говоря уже о том, что непосредственно обдирать

ближнего теперь стало невозможно, даже держать веселые дома через подставных лиц становится все труднее. Выворачивание шубы становится также все менее и менее безопасным. Имейте в виду, что у нас наступает двадцатый век, все удивительно совершенствуется; как же вы хотите, чтоб способы проявления любви к своему ближнему оставались все те же, допотопные. Так вот-с: в деле техники первое место принадлежит теперь электричеству, в деле облегчения карманов ближнего — акционерным обществам. Это насос, выкачивающий из обывателей копейки, рубли, которые слагаются в миллионы. Но... тут, конечно, нужно тонкое понимание, и в этом отношении я мог бы послужить для вас блестящим примером. Взгляните на город: он весь опутан миллионом акционерных присосков, которые сосут из него все соки. Это раз. Второе, можно великолепные дела делать, организуя эти акционерные общества и потом ловко сбывая акции. И в этом я искусился. Впрочем, тростите, некогда, бегу. Нужно побывать у многих почтенных лиц, того подмазать, другого попросить, третьему пригрозить, — вот она сеть и ткется и обволакивает обывателя. Так вот-с.

И он торопливо побежал.

Юноша с минуты постоял на улице:

— Одно из двух, — подумал он, — тут нужно или поедать других, или самому быть с'еденным. Можно было бы сказать, что это город лесных грабителей, если бы здесь не носили такого тонкого белья и таких крупных камней в кольцах.



СОДЕРЖАНИЕ

	<i>Стр.</i>
На льдине.....	5
Снежная пустыня.....	22
В бурю.....	60
Мечь.....	80
В камышах.....	104
Под уклон.....	121
Дежурство.....	138
Прогулка.....	147
Степные люди	168
Истинное происшествие	197
Воспоминания (из жизни аптекарских учеников)	211
На паровозе (рассказ старого адвоката).....	224
 Рождественские рассказы:	
Выбор.....	237
Учитель жизни.....	242